

Пелагия и белый бульдог

Автор:

Борис Акунин

Пелагия и белый бульдог

Борис Акунин

Провинциальный детектив, или Приключения сестры Пелагии #1

«Пелагия и белый бульдог» – первый роман трилогии Бориса Акунина «Провинциальный детектив, или Приключения сестры Пелагии».

Непоседливой очкастой монахине предстоит распутать цепь загадочных преступлений, потрясших небольшой уездный город Заволжск.

Борис Акунин

Пелагия и белый бульдог

С любовью – Н.С. и Ч.Г.

Часть первая

Блюдитесь псов

I. Смерть Загуляя

...А надо вам сказать, что к яблочному Спасу, как начнет небо поворачивать с лета на осень, город наш имеет обыкновение подвергаться истинному нашествию цикад, так что ночью и захочешь спать, да не уснешь – вот какие со всех сторон несутся трели, и звезды опускаются низко-низко, луна же и по давню виснет чуть не над самыми колокольнями, делаясь похожа на яблоко нашей прославленной «сметанной» породы, которую местные купцы поставляют и к царскому двору, и даже возят на европейские выставки. Если б кому выпало взглянуть на Заволжск из небесных сфер, откуда изливаются лучи ночных светил, то перед счастливецом, верно, предстала бы картина некоего зачарованного царства: лениво искрящаяся Река, посверкивающие крыши, мерцание газовых фонарей, и над всей этой игрой разнообразных сияний воспаряет серебряный звон цикадного хора.

Но вернемся к владыке Митрофанию. О природе же упомянуто единственно для пояснения, почему в этакую ночь уснуть было бы непросто и самому обыкновенному человеку, обремененному заботами поменее, чем губернский архиерей. Недаром же недоброжелатели, которые есть у каждого, не исключая и этого достойного пастыря, утверждают, что именно преосвященный, а вовсе даже не губернатор Антон Антонович фон Гаггенау, является истинным правителем нашего обширного края.

Впрочем, обширен-то он обширен, однако населен не густо. Из настоящих городов, пожалуй, один Заволжск только и есть, прочие же, включая и уездные, представляют собой разросшиеся села с кучкой каменных присутствий вокруг единственной площади, невеликим собором и сотней-другой бревенчатых домишек под жестяными крышами, которые испокон веков у нас красят отчего-то непременно в зеленый цвет.

Да и губернская столица не бог весть какой Вавилон – в описываемый момент все ее население составляло двадцать три тысячи пятьсот одиннадцать человек обоюбого пола. Правда, на неделе после Преображения, если никто не помрет, ожидалось увеличение числа обывателей еще на две души, потому что жена правителя губернской канцелярии Штопса и мещанка Сафулина ходили на сносях, а последняя, по общему мнению, уже и переживала.

Обычай вести строгий учет населения завели недавно, при нынешней власти, и то только в городах. А сколько кормится народишку по лесам да болотам – это уж Бог весть, поди-ка посчитай. От Реки до самых Уральских гор на сотни верст тянутся непроходимые дремучие чащи. Там и раскольничьи скиты, и соляные фабрики, а по берегам темных, глубоких речек, по большей части вовсе безымянных, живет племя зыть, народ смирный и послушный, угорского корня.

Единственное упоминание о древнем бытовании нашей незнаменитой области содержится в «Нижегородском изборнике», летописи пятнадцатого столетия. Там сказано о новгородском госте по имени Ропша, которого в здешних лесах «уловиша дики голобрюхи языце» и во жертвоприношение каменному идолу Шишиге лишили головы, отчего, как считает нужным пояснить летописец, «оный Ропша погибоша, преставися и погребен бысть без главы».

Но то было во времена давние, мифические. Теперь же у нас тишь и благолепие, по дорогам не шалют, не убивают, и даже волки в здешних лесах из-за обилия живности заметно толще и ленивее, чем в прочих губерниях. Хорошо живем, дай Бог всякому. А что до ропота архиереевых недоброжелателей, то рассуждать, кто истинный правитель Заволжского края – владыка ли Митрофаний, губернатор ли Антон Антонович, многоумные ли губернаторовы советники, а может, и вовсе губернаторша Людмила Платоновна, – не беремся, потому что не нашего ума дело. Скажем лишь, что союзников и почитателей в Заволжье у преосвященного гораздо больше, чем недругов.

Впрочем, в последнее время в связи с некими событиями сии последние осмелели и подняли голову, что давало Митрофанию, помимо обычных, связанных с цикадьим неистовством, еще и особенные причины для бессонницы. То-то и хмурил он высокий, в три поперечные морщины лоб, то-то и супил черные густые брови.

Хорош лицом заволжский епископ, не просто благообразен, а истинно красив, так что и не пастырю бы в пору, а какому-нибудь старорусскому князю или византийскому архистратигу. Волосы у него длинные, седые, а борода, тоже длинная и шелковистая, пока еще наполовину черна, в усах же и вовсе ни единого серебряного волоска. Взгляд острый, по большей части мягкий и ясный, но тем страшнее, когда затуманится гневом и начнет извергать молнии. В такие грозные минуты виднее и строгие складки вдоль скул, и орлиный изгиб крупного, породистого носа. Голос у владыки глубокий, звучный, с низкими перекатами, одинаково пригодный для душевного разговора, вдохновенной

проповеди и государственной речи на очередном присутствовании в Святейшем Синоде.

По молодости лет Митрофаний придерживался аскетических воззрений. Ходил в рясе из мешковины, истощал плоть беспрестанным пощением и даже, сказывают, носил под рубахой чугунные вериги, но давно уже отказался от этих суровостей, сочтя их суетными, несущественными и даже вредными для истинного боголюбия. Войдя в возраст и достигнув мудрости, стал он к своей и чужой плоти снисходительней, в повседневном же одеянии отдавал предпочтение подрясникам тонкого сукна, синего или черного. А иной раз, когда того требовал авторитет архиерейского звания, облачался в лиловую, драгоценнейшего бархата мантию, велел запрягать парадную епископскую карету шестеркой, и чтоб на запятках непременно стояли двое статных густобородых келейников в зеленых кафтанах с галунами, очень похожих на ливреи.

Находились, конечно, и такие, кто втихомолку корил преосвященного за сибаритские привычки и приверженность к пышности, но даже и они судили его не слишком строго, памятуя о высоком происхождении Митрофания, который был привычен к роскоши с детства и потому не придавал ей сколько-нибудь важного значения – не удостаивал замечать, как выражался его письмоводитель отец Серафим Усердов.

Родился заволжский преосвященный в знатном придворном семействе, окончил Пажеский корпус и вышел оттуда в гвардейскую кавалерию (было это еще в царствование Николая Павловича). Вел обычную для молодого человека его круга жизнь, и если чем-то отличался от своих сверстников, то разве что некоторой склонностью к философствованию, впрочем, не столь уж редкой среди образованных и чувствительных юношей. В полку «философа» считали хорошим товарищем и исправным кавалеристом, начальство его любило и продвигало по службе, и к тридцати годам он, верно, вышел бы в полковники, но тут случилась Крымская кампания. Бог весть, какие прозрения открылись будущему заволжскому епископу в его первом боевом деле, конной сшибке под Балаклавой, но только, оправившись после сабельного ранения, вновь брать в руки оружие он не пожелал. Вышел в отставку, распростился с родными и вскоре уже пребывал на искусе в одном из отдаленнейших монастырей. Однако и сейчас, особенно когда Митрофаний служит в храме молебен по случаю одного из двенадцатых праздников или председательствует на совещании в консистории, легко представить, как он раскатисто командовал своим уланам:

«Эскадрон, сабли к бою! Марш-марш!»

Незаурядный человек проявит себя на любом поприще, и в безвестности дальнемонастырской жизни Митрофаний пребывал недолго. Как прежде он еще будучи в обер-офицерском чине стал самым молодым эскадронным командиром во всей легкоконной бригаде, так и теперь ему выпало стать самым молодым из православных епископов. Назначенный к нам в Заволжск сначала викарием, а затем и губернским архипастырем, он проявил столько мудрости и рвения, что вскорости был вызван в столицу, на высокую церковную должность. Многие прочили Митрофанию в самом недалеком будущем белый митрополичий клобук, но он, поразив всех, опять свернул с накатанного тракта – ни с того ни с сего запросился обратно в нашу глушь и после долгих уговоров, к радости заволжан, был с миром отпущен, чтобы больше уж никогда не покидать здешней скромной, удаленной от столиц кафедры.

Хотя что ж с того, что удаленной. Давно известно, что чем удаленней от столицы, тем ближе к Богу. А столица, она и за тысячу верст дотянется, если взбредет ей, высоко сидящей и далеко глядящей, в голову такая фантазия.

Из-за такой-то вот фантазии и не спал нынче владыка, без удовольствия внимая надоевшим цикадьям *crescendo*. Столичная фантазия имела лицо и имя, звалась синодским инспектором Бубенцовым, и, прикидывая, как дать укорот этому злокозненному господину, преосвященный уже в сотый раз переворачивался с боку на бок на мягкой, утячьего пуха перине, кряхтел, вздыхал, а по временам и охал.

Ложе в архиерейской опочивальне было особенное, старинное, еще елисаветинских времен, на четырех столбах и с балдахином в виде звездного неба. В период уже поминавшегося увлечения аскезой Митрофаний преотлично ночевал и на соломе, и на голых досках, пока не пришел к заключению, что плоть умерщвлять – глупость и незачем, не для того Господь ее слепил по образу и подобию Своему, да и не пристало архипастырю бахвалиться перед подопечным клиром, навязывая ему самоистязательную строгость, к которой иные не испытывают душевного расположения, да и по церковному уставу не обязаны. К зрелым годам стал преосвященный все больше к тому склоняться, что истинные испытания человеку ниспосылаются не в области физиологической, а в области духовной, и истребление тела отнюдь не всегда влечет за собой спасение души. Потому обставлены епископские палаты не хуже губернаторского дома, стол в трапезной и вовсе не в пример лучше, а яблоневый

сад первый во всем городе – с беседками, ротондами и даже фонтаном. Мирно там, тенисто, мыслеродительно, и пускай перешептываются недоброжелатели – на дурной роток не накинешь платок.

А с коварным проверяльщиком Бубенцовым поступить надо вот как, придумал владыка. Перво-наперво отписать в Петербург Константину Петровичу про все художества его доверенного нунция и про то, какая беда может произойти для церкви от этих художеств. Обер-прокурор человек умный. Возможно, что и внемлет. Но посланием не ограничиваться, а непременно призвать к беседе губернаторшу Людмилу Платоновну – усювестить, пристыдить. Женщина она добрая и честная. Должна одуматься.

Всё и устроится. Куда как просто.

Но и после того, как от сердца отлегло, сон все равно не шел, и дело было не в круглой луне, и даже не в цикадах.

Зная свою натуру и имея привычку досконально, до винтика разбирать работу ее механизма, Митрофаний принялся вычислять, что за червь его гложет, не попускает разуму окутаться сонным облаком. В чем причина?

Неужто давешний разговор с взбалмошной белицей дворянского звания, которой отказано в постриге? Владыка не стал ходить вокруг да около, брякнул ей начистоту: «Вам, дочь моя, не Сладчайшего Жениха Небесного надобно, это всё ваши иллюзии. Вам самого обычного жениха нужно, из чиновничьего сословия, а еще лучше – офицера. С усами». Не следовало бы так, конечно. Истерика была и потом еще долгое утомительное препирательство. Но это ладно, пустое. Что еще?

Пришлось принять неприятное решение насчет отца эконома из Богоявленского монастыря. За пьяное бесчиние и блудное хождение к женщинам неодобрительного поведения преступник был приговорен к увольнению из обители и обращению в первобытное звание. Теперь пойдет писанина – и высокопреосвященному, и в Синод. Но и это было дело обычное, причина тревоги коренилась не в нем.

Митрофаний подумал еще, пощупал в себе, как бывало в детстве, на «тепло-холодно» и вдруг понял: письмо от двоюродной тетки, генеральши Татищевой,

вот где, оказывается, червоточина. Сам удивился, но сердце сразу подтвердило – горячо, в самую точку. Вроде глупость, а на душе что-то кошки скребут. Взять перечесть?

Сел на кровати, зажег свечу, надел пенсне. Где оно, письмо-то? А, вот, на столике.

«Милый мой Мишенька, – писала старуха Марья Афанасьевна, по прежней памяти называя родственника давно забытым мирским именем, – здоров ли ты? Отпустила ли тебя окаянная подагра? Прикладываешь ли ты капустный лист, как я тебе велела? Аполлон Николаевич, покойник, всегда говорил, что...» Далее следовало пространное описание чудодейственных свойств огородной капусты, и преосвященный нетерпеливо заскользил взглядом по строчкам, написанным ровным, старомодным почерком. Глаза споткнулись на неприятной фамилии. «Опять навещал меня Владимир Львович Бубенцов. И что только ввали про него, будто он прохвост и чуть ли не душегуб. Славный молодой человек, мне понравился. Прямой, без фанаберий, и в собаках толк понимает. Знаешь ли ты, что он мне, оказывается, родня по линии Стрехниных? Моя бабка Аделаида Секандровна вторым браком...» Нет, и не это, дальше.

Ага, здесь: «...Но это всё к делу не относится и писано было только потому, что я по сердечной слабости медлила подойти к главному. Только соберусь, уж и духом укреплюсь, а снова слезы в два ручья, и рука трясется, и в груди холодом стискивает. Пишу я к тебе, Мишенька, не просто так. У меня большое горе, да такое, что один ты меня и поймешь, а другие, поди, и на смех поднимут, скажут, совсем дура старая из ума выжила. Хотела бы сама к тебе приехать, да мочи нет, хотя вроде бы и путь недалёкий. Лежу пластом и все плачу, плачу. Ты знаешь, сколько лет, сколько сил и сколько средств я положила на то, чтобы довести до конца дело, которому Аполлон Николаевич посвятил свою жизнь». (На этом месте владыка покачал головой, поскольку к делу, которому покойный дядюшка посвятил свою жизнь, относился скептически.) «Так узнай же, друг мой, какое злодейство приключилось в моей Дроздовке. Какой-то супостат, и ведь не иначе как из своих, подсыпал отравы в похлебку Загуляю и Закидаю. Закидай помоложе, я его рвотным камнем спасла, выходила, а вот Загуляюшка преставился. Всю ночь маялся, метался, плакал человеческими слезами и смотрел на меня так жалобно: спаси, мол, матушка, на тебя вся моя надежда. Не спасла. Под утро уж вскрикнул так жалостно, на бок упал и дух испустил. Я бухнулась без сознания и, говорят, пробыла так три часа, уж и доктор из города приехать успел. Теперь вот лежу вся слабая, и больше от страха. Ведь это

заговор, Мишенька, злодейский заговор. Кто-то извести хочет деточек моих, а с ними и меня, старую. Богом-Вседержителем молю тебя, приезжай. И не для пастырского утешения, его мне не надобно, а для розыска. Все говорят, что ты дар имеешь любого злодея насквозь видеть и всякую преступную каверзу разгадывать. Какого уж тебе еще злодейства хуже этого? Приезжай, право, спаси. А я буду вечная твоя обожательница и в духовной отпишу щедрую долю хоть на храм, хоть на монастырь какой, хоть на сирот». В самом конце письма тетка переходила из родственного тона в официально-почтительный: «Поручая себя отеческому вниманию, архипастырским молитвам и моля о владычном благословении, остаюсь преданная раба Вашего преосвященства Марья Татищева».

Тут, пожалуй, нужно пояснить про дар, о котором писала генеральша Татищева и который духовной особе архиерейского звания был вроде бы и не совсем к лицу. Тем не менее среди прочих еще более возвышенных достоинств числился за владыкой и драгоценный, редко встречающийся талант распутывать всякие головоломные загадки, в особенности с преступной подоплекой. Можно даже сказать, что была у Митрофания настоящая страсть к подобного рода умственной гимнастике, и не раз случалось, что полицейские власти, даже и из сопредельных губерний, почтительно испрашивали у него совета в каком-нибудь запутанном расследовании. Этой своей славой заволжский епископ втайне очень гордился, но не без угрызений совести – во-первых, потому, что сия гордость несомненно относилась к разряду суетных тщеславий, а во-вторых, по еще одной причине, о которой знали только он сам и еще некая особа, поэтому умолчим.

Просьба тетки – мчаться к ней в поместье для расследования обстоятельств гибели Загуляя – вечером, при первом прочтении письма, позабавила преосвященного. Вот и сейчас, перечтя послание, он подумал: чушь, блажит старуха. Полежит денек-другой и встанет.

Загасил свечу, лег, а на сердце все равно нехорошо. Попробовал помолиться за теткино выздоровление. Известно, что ночная молитва доступнее к Господу. Вот и святой Златоуст пишет, что Господь наипаче умилоstitвляется ночными молитвами, «егда соделаешь время успокоения многих временем плача».

Но молитва вышла без души, одно попугайское суесловие, а таких молений владыка не признавал. Он и епитимий молитвенных никогда ни на кого не налагал, почитал за святотатство. Молитва и не молитва вовсе, если проходит

только через уста, не затрагивая сердца.

Ладно, пускай Пелагия сходит, решил Митрофаний. Пускай выяснит, что там содеялось с этим треклятым Загуляем.

И сразу отпустило, и цикады уже не бередили душу трепетным многоголосием, а убаюкивали, и луна не резала глаза, а как бы омывала лицо теплым молоком. Митрофаний смежил вежды, разгладил морщины на суровом челе. Уснул.

* * *

С утра в домово́й церкви святили плоды по случаю Преображения Господня, еще называемого яблочным Спасом. Этот праздник, не самый большой из двенадцатых, Митрофаний любил за яркость и богоприятное легкомыслие. Сам не служил, стоял сзади и сбоку, на архиерейском возвышении, откуда лучше видно и разукрашенную яблоками церковь, и многочисленную публику, и священников с дьяконами в особых «яблочных» ризах – голубых с золотом, а поверху – плодно-листяное шитье. Певчие знаменитого архиерейского хора, сойдясь с двух сторон, грянули так, что тяжелая хрустальная люстра под белым сводом звонко затрепетала радужными подвесками. Отец Амфитеатров начал святить яблоки: «Господи, Боже наш, положивый верующим в Тя пользование творениями Твоими, Сам благослови подлежащая плоды сия словом Твоим...»

Хорошо.

Служба на Спас не такая долгая, радостная. В храме пахнет свежестью и соком, потому что все со своими корзинами пришли, яблоки кропить. И подле Митрофания, на столике, тоже лежало серебряное блюдо с огромными красными ананасно-царскими яблоками из владычьего сада, сочными, сладкими, ароматными. Кого преосвященный одарит – тому особое отличие и расположение.

Митрофаний послал костыльника, служку при архиерейском посохе, к левому клиросу, где в ряд чинно стояли монахини, назначенные по послушанию учительствовать в епархиальной школе для девочек. Посланец шепнул на ухо начальнице, высокой, тощей сестре Христине, что владыка яблочком пожалует, и та оглянулась, склонилась в благодарном поклоне. Справа от нее (со спины не

сразу догадаешься), кажется, стояла сестра Емилия, преподававшая арифметику, географию и еще несколько наук. Потом кривобокая сестра Олимпиада, эта ведала законом Божьим. Далее две одинаково сутулые, Амвросия и Аполлинария, не разберешь, кто из них кто; одна преподавала грамматику и историю, другая – домополезные рукоделия. А с краю, у стеночки, невысокая, худенькая сестра Пелагия (литература и гимнастика). Эту и захочешь, ни с кем не перепутаешь: платок-апостольник на сторону сбился, и сбоку – для монахини стыд и недопустимо – прядка рыжих волос торчит, так и отливает бронзой в солнечном луче.

Митрофаний вздохнул, вновь, уже в который раз, усомнившись, не ошибся ли, дав в свое время благословение Пелагии на постриг. Нельзя было не благословить – через большое горе и тяжкое испытание прошла девица, так что не всякая душа и выдержала бы, но уж больно не монашеского она кроя: чересчур жива, непоседлива, любопытственна и в движениях нечинна. Так ты ведь и сам таков, старый дурень, укорил себя преосвященный и опять вздохнул, еще сокрушенной.

Когда инокини выстроились получать от преосвященного по яблоку, он отличил каждую – кого к руке подпустил, кого по голове легонько погладил, кому просто улыбнулся, а с последней, Пелагией, вышел казус. Наступила, нескладная, иподиакону на ногу, шарахнулась с извинением, всплеснула рукой и локтем прямо по блюду. Грохот, звон серебра о каменный пол, во все стороны обрадованно катятся красные яблоки, и мальчишки из духовного училища, кому и не положено вовсе, потому что озорники и сорванцы, уж расхватили драгоценный царский ананас, ничего не оставили людям достойным, заслуженным, кто за Пелагией своего череда ожидал. И вечно с ней так – не монахиня, а недоразумение конопатое.

Митрофаний пожевал губами, но от внушения воздержался, потому что храм Божий и праздник.

Сказал только, благословляя:

– Прядку-то подбери, стыдно. И в библиотеку ступай. Говорить с тобой буду.

* * *

– Некий осел вообразил себя рысаком, принялся раздувать ноздри и стучать копытом о землю. (Так начал разговор преосвященный.) «Всех обгоню! – кричал. – Я самый быстрый, самый резвый!» И до того убедительно кричал, что все вокруг поверили и стали повторять: «Наш-то осел и не осел вовсе, а самый что ни на есть чистопородный аргамак. Надо его теперь на скачки выпускать, чтобы он все до единого призы завоевал». И не стало после этого ослу житья, потому что как где бега, сразу его под узду и скакать волокут. «Давай, мол, длинноухий, не выдавай». То-то славное ослу житье вышло.

Монахиня, давно привычная к епископовым иносказаниям, слушала сосредоточенно. Невнимательно на нее взглянуть – юная девица: лицо чистое, милоовальное, собой располагающее и вроде как наивное, но это обманчивое впечатление возникало от вздернутого носа и удивленно приподнятых бровей, а пытливые круглые карие глаза смотрели из-за таких же круглых очков вовсе даже не просто, и было по глазам видно, что нет, это не юница – и пострадать успела, и пожить, и поразмыслить о пожитом. Свежесть же и моложавость от белой кожи, часто сопутствующей рыжеволосию, и от оранжевого крапчика неистребимых веснушек.

– Так вот скажи мне, Пелагия, к чему сия притча?

Инокня задумалась. С ответом не спешила. Маленькие белые руки непроизвольно потянулись к холщовой сумке, висевшей у пояса, и владыка, знавший, что Пелагии легче думается с вязаньем в руках, позволил:

– Вяжи, можно.

Проворно защелкали острые стальные спицы, и Митрофаній поморщился, вспомнив, какие отвратительные произведения появляются на свет из этих обманчиво ловких пальцев. На Святую Пасху сестра поднесла архиерею белый шарфик с буквами ХВ, скособоченными так, будто они уже успели изрядно разговеться.

– Это кому? – настороженно спросил владыка.

– Сестре Емилиии. Поясок, а по нему пуцу узор из черепов с костями.

– Ну-ну, – успокоился он. – Так что притча?

– Я так думаю, – вздохнула Пелагия, – что это про меня, грешницу. Сей аллегорией, отче, вы хотели сказать, что из меня инокиня, как из осла резвый скакун. И такое немилосердное суждение обо мне вы вынесли оттого, что я в храме яблоки просыпала.

– Просыпала-то нарочно? Чтоб в храме кутерьму устроить? Признайся. – Митрофаней заглянул ей в глаза, но устыдился, потому что прочел в них кроткий укор. – Ладно-ладно, это я так... А притча моя не к тому, не разгадала ты. Что же это у нас, человеков, за устройство такое, что всякое событие и всякое сказанное слово мы непременно тщимся на себя приложить? Гордыня это, дочь моя. И невелика ты птица, чтоб я про тебя притчи загадывал.

Внезапно осердившись, он встал, заложил руки за спину и прошелся по библиотеке, которая, пожалуй, заслуживает того, чтобы уделить ей некоторое внимание.

Архиерейская библиотека содержалась в идеальном порядке и находилась в ведении секретаря Усердова, работника старательного, в полном соответствии с фамилией. В центре самой протяженной из стен (той, что была лишена окон и дверей) располагался шкаф с трудами по богословию и патрологии, где хранились вероучительные сочинения на церковно-славянском, латыни, греческом и древнееврейском. По левую сторону тянулись шкафы агиографии с житиями святых, как православных, так и римско-католических; по правую – труды по истории церквей, литургике и канонике. Отдельное место занимал обширный шкаф с трактатами по аскетике, напоминая о прежнем увлечении преосвященного. Были в том шкафу и драгоценнейшие редкости вроде первых изданий «Внутреннего замка» святой Терезы Авильской или «Одеяния духовного брака» Рейсбрука Удивительного. На длинном столе, тянувшемся через всю комнату, виселись подшивки русских и иностранных газет и журналов, причем самое почетное место отводилось «Заволжским епархиальным ведомостям», губернской газете, редакторство которой владыка вел самолично.

А литература нерелигиозная, самых различных направлений, от математики до нумизматики и от ботаники до механики, стояла на крепких дубовых полках, сплошь занимавших три остальные стены библиотечного помещения.

Единственный род чтения, которого владыка избегал, почитая малополезным, была беллетристика. Творец небесный измыслил в сем мире предостаточно чудес, загадок и неповторимых историй, говаривал епископ, так что смертным

человекам незачем выдумывать собственные миры и игрушечных человечков, все равно против Божьего вымысла выйдет скудно и неудивительно. Правда, сестра Пелагия с владыкой спорила, ссылаясь на то, что раз Господь заронил в душу человека желание творчества, то Ему виднее, есть ли смысл и польза в сочинении романов. Однако этот теологический диспут был начат не Митрофанием и его духовной дочерью, а много ранее; не ими и закончится.

Остановившись перед Пелагией, смиренно ожидавшей, когда иссякнет не вполне понятное раздражение духовного учителя, Митрофаний вдруг спросил:

– Что нос-то блестит? Снова конопушки одуванном эликсиром выводила? Статочное ли дело Христовой невесте о такой суетности заботиться? Ведь ты умная женщина. Вот и блаженный Диадокх поучает: «Украшающая плоть свою повинна в телолюбии, оно же есть знамение неверия».

По шутливому тону преосвященного Пелагия поняла, что тучка улетела, и ответила бойко:

– Ваш Диадокх, владыко, известный мракобес. Он и мыться запрещает. Как там у него в «Добротолубии» сказано? «Бани следует, воздержания ради, удаляться, ниже бо тело наше ослабеваеет сладостною оною мокротою».

Митрофаний сдвинул брови:

– Я вот тебя поставлю сто земных поклонов класть, чтобы непочтительных слов о древнем мученике не говорила. И об украшении плоти он правильно поучает.

Смутившись, Пелагия принялась многословно оправдываться, что с веснушками воует не ради, упаси Господи, телесной красоты, а единственно из благочиния – хороша инокиня с конопатым носом.

– Ну-ну, – недоверчиво покачал головой архиерей, всё медля перейти к главному.

Переходы от дерзости к смирению и обратно у сестры Пелагии всегда происходили молниеносно, не уследишь. Вот и сейчас, блеснув глазами, она очень уж смело спросила:

– Владыко, неужто вы меня из-за веснушек вызвали?

И опять Митрофаний не решился о деле заговорить. Покашлял, сызнова прошелся по библиотеке. Спросил, как ученицы в школе. Прилежны ли, хотят ли учиться, не обучают ли их сестры лишнему, что в жизни не поможет, а только помешает.

– Мне доносят, ты их затеяла плаванию обучать? Зачем это? Будто велела сколотить на Реке купальню и плещешься там вместе с ними? Хорошо ли это?

– Плавание девочкам необходимо, потому что, во-первых, укрепляет здоровье и развивает гибкость членов, а во-вторых, способствует стройности, – ответила сестра. – Они ведь из бедных семей, все больше бесприданницы. Вырастут – женихов найти надо... Владыко, да ведь вы меня и не из-за школы вызвали. Третьего дня мы уж говорили про школу и про плавание тоже.

Не из тех была Пелагия, кого можно долго за нос водить, и потому Митрофаний наконец заговорил о придуманном минувшей ночью, перед тем как уснуть.

– Осел, про которого я тебе толковал, я самый и есть. Потакая твоим мольбам, а еще более – собственному пустому тщеславию, для пастыря совершенно неприличному, держу от всех в тайне, что истинный дока по части разгадки неявного и ложноочевидного не я, старый дурень, а ты, тихая рясофорная инокиня Пелагия. И от меня, как от того славолюбивого осла, все ожидают чудес и новых прозрений. Теперь уж и не поверит никто, если я объявлю, что это всё твоим промыслом совершалось, а я только тебе послушания назначал...

Спицы перестали постукивать друг о друга, в круглых карих глазах зажглись огоньки.

– Что случилось-то, отче? Видно, не в нашей губернии, а то я бы знала. Опять, как в прошлый год на Маслену, казну церковную похитили? – спросила сестра с нетерпеливым любопытством. – Или, не приведи Господь, духовное лицо умертвили? Какое послушание мне будет от вашего преосвященства на этот раз?

– Нет, человекоубийства никакого нет. – Митрофаний сконфуженно отвернулся. – Тут другое. Не по преступной части. Во всяком случае, дело это не

полицейское... Я тебе расскажу, а ты пока слушай. После скажешь, что думаешь. Да ты вяжи. Вяжи и слушай...

Он подошел к окну и всё дальнейшее проговорил, глядя в сад и время от времени принимаясь постукивать пальцами по раме.

– Недалеко отсюда, верст восемь, усадьба моей двоюродной тетки, Марьи Афанасьевны Татищевой. Она уже глубокая старуха, а когда-то давно считалась одной из первых петербургских красавиц. Я мальчиком был, помню, как она к нам приезжала. Веселая была, молодая, в шашки со мной играла... Вышла замуж за офицера, полкового командира, ездила с ним по разным отдаленным гарнизонам, потом он в отставку вышел, и поселились они здесь, в Дроздовке. Этот самый Аполлон Николаевич, ныне уж покойный, страстный был собачник. Первую псарню держал во всей губернии. И борзые у него, и гончие, и легавые. Один раз щенка за тысячу рублей купил, вот какой был отчаянный. Но этого всего ему мало показалось, возмечтал он некую особую, прежде еще небывалую породу вывести. И весь остаток жизни с этим прожектом провозился. Породу он назвал «белый русский бульдог». От обычного отличается мастью – белый весь, как молоко, особой приплюснутостью профиля (забыл, термин у собачников есть для этого специальный) и еще какой-то невиданной брудастостью – это когда брыли свисают. Главная же особенность, в которой вся изюминка, – чтоб при общей белизне правое ухо было коричневым. Не припомню, какой в этом смысл – что-то про каски... Кажется, когда Аполлон Николаевич в кавалергардах служил, у них в эскадроне был обычай каски немного набекрень надевать. Вот ухо эту лихость и отражает. Ах да, забыл, еще они должны чрезвычайной слюнявостью обладать, уж не знаю, для какой практической пользы. В общем, уродище, каких поискать. Действовал Аполлон Николаевич так. Во все барские дома, где бульдогов держали, по всей России дал знать, что выроdkов-альбиносов топить, как это делают обычно, не следует, а нужно немедля отсылать к генерал-майору Татищеву, и он выкупит бракованных щенков за хорошие деньги. Белые щенки, да еще с коричневым правым ухом у бульдогов рождаются очень редко. Сейчас не помню, хоть много раз и от дяди, и от тетки слышал... Может, один на сотню пометов. Вот, стало быть, собирал Аполлон Николаевич этих уродцев, подращивал и между собой скрещивал. Щенки выходили обыкновенные, рыжие, но иногда получались и белые, буроухие, и теперь уже чаще – скажем, на десяток пометов один. Тех он снова отбирал и скрещивал, да еще следил, чтоб побрудастей и послюнявей были. Особенная трудность, конечно, с этим треклятым ухом выходила. Очень уж многих выбраковывать приходилось. И так поколение за поколением. Когда дядя преставился, он уж далеко к своей мечте продвинулся, но все же еще находился, так сказать, на полдороге. Умирая,

завещал жене довести начатое до конца. А Марья Афанасьевна была супруга поистине золотая. В свое время из светских чаровниц враз перестроилась в матери-командирши, а после и в помещицы. И всё без притворства, от души и в охоту. Такой у нее от Бога женский талант. Если б муж ей на смертном одре поручения не дал, поди, засохла бы, не справилась с горем. А так ничего, вот уже двадцать лет вдовеет и крепка, деятельна, характером бодра. Все разговоры, все помыслы только на собачью материю. Я уж и пенял ей несоразмерностью увлечения, и корил – не слушает. Как-то говорю, не всерьез, поддразнивая: «Тетенька, а если к вам Люцифер явится и попросит вашу душу христианскую в обмен на чистейшую белую породу, отдадите?» «Господь с тобой, Миша, отвечает, что это ты такое несешь». И вдруг примолкла, задумалась. Это уж, скажу я тебе, Пелагия, не шутки! Так или иначе, продолжила она дело покойного мужа по выведению русского белого бульдога и немало в том преуспела. Особенно по линии брудастости, плоскомордия и слюнявости. С ухом у нее хуже сложилось. Из совсем идеальных у нее до недавнего времени всего три кобеля накопилось. Дед по кличке Загуляй, уж старый, на девятом году. Потом сын его, Закидай, четырехлеток. И месяца два-три назад на радость старухе народился Загуляев внук, назвали Закусаем. Такой он вышел по всем статьям образцовый, что тетка всех прочих псов, недостаточно совершенных, велела перетопить, чтоб породу не портили, оставила на развод только этих троих. Ох, забыл еще из существенных статей: криволапые они и носы розовые в черную крапинку. Это тоже важное отличие...

Здесь владыка почувствовал себя совсем глупо и, смешавшись, искоса взглянул на слушательницу. Та шевелила губами, считая петли. Недоумения не выказывала.

– В общем, на-ко вот, прочти. Письмо вчера пришло. Если скажешь, что блажит старуха, из ума выжила, я ей отпишу что-нибудь успокоительное, да и дело с концом.

Митрофаний вынул из рукава подрясника письмо, передал Пелагии.

Сестра пальцем прижала дужку очков к переносице, стала читать. Дочитав, встревоженно спросила:

– Кому бы понадобилось собак травить? И зачем?

От серьезности вопроса владыка испытал облегчение и конфузиться сразу перестал.

– То-то и оно, зачем. Рассуди сама. Марья Афанасьевна – старуха богатая, в наследниках недостатка не имеет. Дети у нее поумирали, есть внук и внучка – княжата Телиановы. И еще бессчетная дальняя родня, приживалы там какие-то, приятели всякие. Женщина она добрая, но вздорная. И привычку самодурскую имеет – чуть не каждую неделю вызывает из города стряпчего и духовную наново переписывает. На кого осерчает – вычеркивает из завещания, кто угодил – долю увеличивает. Вот о чем и дума моя. Проверить бы, Пелагиюшка, кого она там в последний раз по духовной облагодетельствовала. Или, наоборот, на кого осерчала и грозитя наследства лишить. Иного смысла в этом диком собакоотравстве я не вижу, кроме как если кто задумал таким манером саму старушку в могилу загнать. Видишь, как она из-за пса этого расхворалась. А если бы оба околели, тут бы Марью Афанасьевну и схоронили. Как тебе моя препозиция? – обеспокоенно спросил епископ свою проницательную питомицу. – Не слишком невероятна?

– Опасение резонное и очень вероятное, иной причины и в голову не приходит, – одобрила инокиня, однако же добавила: – Хотя, конечно, надо бы на месте побывать. Может, и какая другая причина сыщется. А велико ли у вашей тетеньки состояние?

– Велико. Имение большое, содержится в образцовом порядке. Леса, луга, мельницы, льны, овсы первостатейные. Еще и капитал, денежные бумаги в банке. Не удивлюсь, если все вместе к миллиону будет.

– А наследников ее вы, владыко, знаете? Очень уж много нужно подлости иметь, чтобы такое дело затеять. Пожалуй, напрямую убить, и то грех не тяжелее получится.

– Это ты с Божеской позиции смотришь, и правильно делаешь. Но человеческие законы от Божьих далеки. Напрямую убить – это ведь полиция допытываться будет, кто да зачем. Так и на каторгу угодишь. А собачек потравить – грех в человеческом смысле небольшой, в юридическом и вовсе никакой, старушку же этим способом убьешь еще верней, чем ножом или пулей.

Пелагия руками взмахнула, так что вязанье у нее полетело на пол:

– Большой это грех в человеческом смысле, очень большой! Даже если бы эта ваша Марья Афанасьевна исчадием ада была и кто-то обиженный хотел с ней счеты свести, то в чем же невинные твари виноваты! Собака – существо доверчивое, привязчивое, от Господа и верностью, и любовным даром так щедро наделенное, что и людям не вред бы поучиться. Я полагаю, владыко, что собаку еще хуже, чем человека, убить.

– Ну, ты это язычество мне брось! – прикрикнул преосвященный. – Чтоб я такого больше не слышал! Сравнила душу живую с тварью бессловесной!

– Что ж с того, что бессловесной, – не унималась упрямая монашка. – Вы собаке в глаза заглядывали? Вот хоть Жуку вашему, что у ворот на цепи сидит? А вы загляните. У Жука глаза подушевнее и поживее, чем тусклые площадки вашего драгоценного Усердова!

Открыл было рот владыка, чтобы дать волю праведному гневу, но остановил себя. В последнее время вел он борьбу с грехом сердечной свирепости, и иногда получалось.

– Недосуг мне дворовым псам в глаза заглядывать, – сухо, с достоинством молвил епископ. – Усердова же не трогай, он аккуратен и исполнительен, а что до его души трудно добраться, так это характер такой. И препираться с тобой я не стану, тем более из-за очевидного. Скажи одно: сделаешь, о чем прошу?

– Сделаю, отче, – поклонилась инокиня.

– Тогда вот тебе послушание. Ступай в Дроздовку. Прямо нынче. Передашь Марье Афанасьевне мое благословение и письмо, какое дам. Успокой старушку. А главное – выясни, что там у них такое творится. Если обнаружишь злой умысел – пресеки. Ну, да что тебя учить, сама знаешь. И пока ясности не достигнешь, не возвращайся.

– Владыко, – востропала Пелагия. – У меня в субботу уроки в школе.

– Ну, на уроки придешь, а после снова в Дроздовку. И будет, ступай. Подойди только, благословлю.

* * *

Прежде чем сестра Пелагия отправится в поместье генеральши Татищевой, необходимо сделать кое-какие географические пояснения, без которых человеку, никогда не бывавшему в Заволжске, будет трудненько поверить и даже просто понять, как могло произойти все то, что впоследствии произошло в дальнейшем.

Главное действующее лицо в этой истории – Река, величайшая и славнейшая не только в России, но и во всей Европе. Губернская столица выстроена на левом берегу, над крутым яром. Здесь течение вод стеснено с обеих сторон утесами, и оттого знаменитый своей величавостью поток на время утрачивает благодушие, переходит с рассеянной неспешности на рысистый бег, пенится барашками, крутится темными водоворотами и ведет многовековую осаду Заволжского отвеса, подсекая высокий обрыв коварными апрошами. Ниже, верст через пять, левобережная круча постепенно выравнивается, сменяется песчаными отмелями, так что Реке становится привольней, и она, отдуваясь после вынужденной пробежки, растекается вширь чуть не на версту. Но передышка эта временная – как раз там, где расположена Дроздовка, упрямый берег снова резко дыбится кверху; помещичий дом и сад вознесены высоко над водным простором, отчего открывающийся оттуда вид по праву считается красивейшим во всей округе.

Так что путь сестре Пелагии лежал в южном направлении, через Казанскую заставу на Астраханский шлях, что тянется вдоль Реки, послушно следуя всем ее прихотливым изгибам и никогда не удаляясь от нее более чем на пять верст.

Перед тем как покинуть свою комнатку на архиерейском подворье, по-монастырски называемую кельей, Пелагия по давней суеверной привычке открыла Евангелие и ткнула пальцем в первую попавшуюся строчку. Послушание на сей раз ей выпало нестрашное и, можно даже сказать, пустяковое, но такой уж у монахини был обычай. Однако строчка (из «Послания святого апостола Павла к Филиппийцам») выпала явно не случайная, содержащая в себе не то подсказку, не то предостережение: «Блюдитесь псов и блюдитесь злых делателей».

Видимо, все-таки именно предостережение, потому что на выходе из города, уже за шлагбаумом, была Пелагии явлена примета явно недоброго свойства. Оглянувшись и увидев, что поблизости вроде бы никого нет, инокиня достала из

поясной сумки, где вязанье, маленькое зеркальце и принялась разглядывать нос – не побледнели ли настырные веснушки от одуванного молочка. А тут из придорожных кустов шуршание раздалось, и вылезли две бабы, невесть зачем сошедшие с шляха. Сестра Пелагия хотела руку за спину спрятать, да так неловко, что зеркальце упало. Подняла – нехорошо: две трещины крест-накрест, а всем известно, что это за знак. Ничего хорошего он не предвещает.

К плохим приметам Пелагия, вопреки монастырскому уставу, относилась серьезно, и не из невежества, а потому что многократно убеждалась: неспуста они за долгие века народом выделены и перечислены. Как положено в подобном случае, зачерпнула горстку праха, кинула через левое плечо, осенила себя крестным знамением (чего всуе никогда не делала), прочла молитву Пресвятой Троице и пошла себе дальше.

О тревожном думать не хотелось (да, в общем, и не с чего было), впереди предстояло пусть маленькое, но все же не лишнее познавательности приключение, и настроение монахини, ненадолго омраченное гибелью зеркальца, быстро наладилось, тем более что стояла та волшебная летняя пора, когда воздух от зрелого солнца делается золотистым, будто мед, небо высокое, а земля широкая, и все вокруг полно щедрой жизни и доброй истомы. Да, впрочем, что описывать, все и так знают, как выглядит пригожий августовский день, не так давно переваливший за середину.

На первой же версте Пелагии повезло – посадил на телегу старичок крестьянин. Дороги у нас в губернии новые, ровные, едешь – будто по льду скользишь, и докатила Пелагия на мягком сене с полным комфортом до самого поворота с Астраханского шляха на Дроздовку.

Тут, на самой развилке, было еще одно предзнаменование, да такое, что хуже уж и не придумаешь. Сойдя с телеги и благословив старичка, Пелагия увидела в стороне кучку людей, столпившихся возле какой-то повозки и что-то там молчаливо разглядывавших. По прирожденному любопытству не могла сестра пройти мимо такого события и подошла посмотреть, что там за диковина. Протиснулась меж мужиков и богомольцев, прищурилась через очки: самое обыкновенное дорожное происшествие – сломалась ось. Но возле покривившейся повозки отчего-то торчал исправник и кряхтели двое полицейских стражников, насаживая колесо на свежесрубленный и кое-как зачищенный дубок. Исправник был знакомый, капитан Нерушайло из ближнего Черныярского уезда, а в повозке лежало что-то продолговатое, прикрытое брезентом.

– Что, Пахом Сергеевич, утопленник? – спросила Пелагия, поздоровавшись и на всякий случай перекрестив брезент.

– Нет, матушка, пострашнее, – с загадочным видом ответил исправник, вытирая платком малиновую плешь. – Река двух упокойников выкинула. Безголовых. Мужчина и отрок. Так на песке рядышком и лежали. Вот какая оказия. Расследование будет, по всей форме. Везу вот в губернию на опознание. Хоть как их опознавать, черт разберет. Прошу прощения, само сорвалось.

Пелагия «черта» с плеча стряхнула, чтоб не лип, и перекрестила уже не мертвецов, а себя.

– Это не наши, – сказали в толпе. – У нас такого душегубства отродясь в заводе не было.

– Да, – согласился кто-то. – Не иначе как с Нижнего принесло, там у них сильно шалят.

Это мнение было встречено всеобщим одобрением, потому что заволжане нижегородцев недолюбливают, считая их народишком вороватым и никчемным.

– Ваше благородие, показал бы, что за люди. Вдруг да узнаем, – попросил борода в хорошем казакине – солидный человек, и видно, что не из одного любопытства, на мертвяков поглазеть.

Многие просьбу поддержали, а бабы хоть и поохали, но больше из приличия.

Исправник надел фуражку, немного подумал и снизошел.

– А что ж, и покажу. Вдруг и вправду...

Сдернул Пахом Сергеевич покров, и Пелагия сразу отвернулась, потому что трупы были совсем голые, монахине на такое смотреть не пристало. Успела только увидеть, что у большого, волосатого, левая рука, где полагается кисти быть, заканчивается сыромятным обрубком.

– Ой ты, Господи, мальчонка-то малой совсем, – запричитала какая-то из баб. – У меня Афонька такой же.

Дальше Пелагия смотреть не стала, потому что послушание есть послушание, и зашагала проселком к Дроздовке.

Что-то душно становилось, и от земли поднималось некое струение, как бывает в жаркий день перед дождем. Пелагия ускорила шаг, поглядывая на небо, по которому, быстро набухая, катилась круглая, плотно сбитая туча. Впереди виднелась ограда парка, и над деревьями зеленела крыша большого дома, но до него пока еще было далеконочко.

Ничего, не размокну, сказала себе монахиня, но настроение у нее было уже совсем не то, что прежде. Сестру Пелагию одолевало недостойное чувство – зависть. Вот это настоящее дело, думала она, вспоминая, как важно произнес Пахом Сергеевич вкусное слово «расследование».

Кому страшную тайну разгадывать, а кому разбираться, от чего окошел тетенькин брудастый. Ну и послушание дал владыка.

II. Тучи над Заволжском

Пусть сестра Пелагия пока идет себе под быстро темнеющим небом к железным воротам дроздовского парка, мы же тем временем сделаем отступление, чтобы разъяснить некоторые тайны нашей губернской политики, а также представить персон, которым суждено сыграть ключевую роль в этой темной и запутанной истории.

Как уже было сказано, Заволжская губерния обширна, но находится вдали от вместилища центральной власти и с давних времен была не то чтобы совсем предоставлена самой себе, но очень мало осенена вниманием со стороны высших сфер. Ничего желанного для сих сфер в Заволжье нет – всё леса, да реки, да озера, в особенности же много болот, и таких, что в годы Смуты где-то в здешних трясинах сгинул целый ляшский обоз, отправленный Самозванцем на поиски волшебного Злата Камня.

Глухомань, тьмутаракань, медвежий угол. И жители здешние тоже отчасти похожи на медведей, такие же нерасторопные и косматые. Бойкие нижегородцы и тороватые костромичи придумали глупую присказку: заволжане все бока отлежали. Что ж, заволжане и в самом деле суеты и проворства не любят, соображают не резво и перпетуум-мобилей, верно, не изобретут. Хотя как сказать. Тому несколько лет в деревне Рычаловке, что в ста двадцати верстах от Заволжска, один пономарь придумал подъемник – на колокольню ехать. Леню ему, видишь ли, стало каждый день по восьмидесяти крутым ступенькам вверх-вниз бегать. Посадил на длинные постромки стул со спинкой, понатыкал каких-то шестеренок, рычажков, и что вы думаете – взлетал под небеса в две минуты. Сам владыка приезжал посмотреть на это чудо. Подивился, покачал головой, прокатился на диво-стуле и раз, и два, а после велел всю конструкцию разобрать, потому что в колокол положено звонить со смирением, благоговейно запыхавшись, да и ребятишкам лишний соблазн. Пономаря Митрофаний отправил в Москву учиться на механика, а вместо него прислал другого, мозгами поскучнее. Но этот проблеск самородного гения скорее является исключением. Признаем честно, что в купности своей заволжане тугодумны и ко всякой новизне подозрительны.

И губернатора нынешнего, Антона Антоновича фон Гаггенау, у нас сначала приняли неодобрительно, потому что, пропитавшись духом благоустроительных реформ, задумал он перевернуть доверенную ему область с ног на голову, причем утверждал, что, наоборот, поставит ее с головы на ноги. Однако уберег Господь заволжан от излишних потрясений. Попал молодой реформатор под влияние Митрофания, смирил гордыню, остепенился, а в особенности после того, как по благословию преосвященного женился на лучшей местной невесте. Для этого барону, конечно, пришлось перейти из лютеранства в православие, и его духовным отцом стал не кто иной, как владыка. До того прижился у нас господин фон Гаггенау, что когда за примерное управление губернией был зван в столицу на министерство – отказался, рассудив, что тут ему лучше. В общем, был немец, да весь вышел. Раньше, бывало, по вечерам глинтвейн из маленькой фарфоровой кружечки попивал и сам с собой на виолончели играл, а теперь к клюквенной настойке пристрастился, на Крещение в проруби купается и после того из парной часа по три не выходит.

И, как положено настоящему русскому человеку, пребывает губернатор под каблучком у жены. Впрочем, у такой особы, как Людмила Платоновна, находиться под каблучком отрадно и приятно, такого рабства многие бы пожелали. Родом она из Черемисовых, первойшей заволжской фамилии, еще Петром Великим возведенной из купеческого звания в графское достоинство.

Девушкой Людмила Платоновна была тонка и нежна мыслями, но после рождения четверых маленьких барончиков поменяла комплекцию и обзавелась приятной взору пышностью, отчего красота ее еще более выиграла. Ясноглазая, румяная, полнорукая, преодолев тридцатилетний рубеж, баронесса стала являть собой совершеннейший образчик истинно русской красоты, к которой немцы сухопарой и плешастой наружности (к числу коих относился и Антон Антонович) испокон веков проявляют душевное и телесное влечение. Людмила Платоновна свою силу над мужем очень быстро поняла и стала привольно пользоваться ею по своему усмотрению, но вреда для губернии от этого до поры до времени никакого не проистекало, потому что, будучи женщиной сердечной и чувствительной, госпожа фон Гаггенау все свои немереные силы отдавала благотворительной и богоугодной деятельности, так что даже и владыка находил ее воздействие на супруга полезным в смысле смягчения остзейской деревянности, отчасти свойственной барону в сношениях с людьми. Правда, в связи с последними событиями Митрофаней был вынужден переменить суждение насчет женского засилья, но об этом не здесь, а чуть далее.

Пожалуй, единственным лицом (разумеется, не считая владыки, на чей авторитет Людмила Платоновна, впрочем, никогда и не думала покушаться), с влиянием которого губернаторша, несмотря на все свои усилия, совладать так и не сумела, – был доверенный советчик барона Матвей Бенционович Бердичевский, занимавший должность товарища прокурора окружного суда. История этого чиновника не совсем обычна и заслуживает быть рассказанной поподробнее.

Матвей Бенционович из бывших иудеев и тоже, подобно губернатору, крестник владыки Митрофаней. До вхождения в лоно православной церкви звался неблагозвучным именем Мордка, каковое и поныне со злорадством употребляют его недруги – конечно, за глаза, потому что близость Матвея Бенционовича к власти всем хорошо известна. Будущий губернаторов наперсник появился на свет в самой что ни на есть лядящей семье, да в раннем возрасте еще и осиротел, вследствие чего, согласно заведенному у нас с некоторых пор обычаю, был принят на казенный кошт сначала в четырехклассное училище, а затем, ввиду редкостных способностей, и в гимназию. Митрофаней рано заметил даровитого отрока, по окончании гимназического курса определил в Санкт-Петербургский университет. Бердичевский не стушевался и в столице, закончил курс первым, с отличительным дипломом, и получил право выбирать любое место службы, хоть бы даже и в министерстве юстиции, однако предпочел Заволжск. Еще бы, умнейший человек, и нисколько не прогадал. Кто бы он был в Петербурге? Провинциал, плебей жидовского роду и племени, что, как известно,

еще хуже, чем быть вовсе без роду и племени. А у нас его приняли ласково. И место хорошее дали, и невесту славную сосватали. Митрофаней всегда говорил, что мужчину делает жена, и для наглядности пояснял свою идею при помощи математической аллегории. Мол, мужчина подобен единице, женщина – нулю. Когда живут каждый сам по себе, ему цена небольшая, ей же и вовсе никакая, но стоит им вступить в брак, и возникает некое новое число. Если жена хороша, она за единицей становится и ее силу десятикратно увеличивает. Если же плоха, то лезет наперед и во столько же раз мужчину ослабляет, превращая в ноль целых одну десятую.

Для Матвея Бенционовича владыка подобрал девушку хорошую и домовитую, из обер-офицерских детей. Зажили они в любви и согласии, а плодиться принялись так, что за первые десять лет супружества, истекшие как раз к началу нашего повествования, произвели на свет двенадцать потомков обоего (но по преимуществу женского) пола.

При желании Бердичевский мог бы занять и иную, более видную должность, хоть бы даже и председателя окружного суда, но по складу характера и природной конфузливости предпочитал держаться в тени; советы власти давал не в присутствии и не на ареопагах, а больше келейно, за чаем или тихой игрой в преферанс, до которой Антон Антонович был большой охотник. И обвинителем на процессах Матвей Бенционович тоже выступать не любил, ссылаясь на гнусавый голос и несчастливую внешность. Собою он и вправду был не красавец – кривоносый, дерганый, и одно плечо заметно выше другого. Его номинальный начальник окружной прокуратуры Силезиус, мужчина представительный, но очень глупый, читая в суде составленные Бердичевским речи, нередко срывал бурные овации, а Матвей Бенционович только вздыхал и завидовал.

Положение сего новоявленного *eminence grise*[1 - серый кардинал (фр.).] зиждилось на двух заволжских китах – владыке и губернаторе, но вот третий из китов, прекрасная Людмила Платоновна, хитроумного еврея не жаловала. Однако конфронтация между Бердичевским и баронессой носила характер не свирепой вражды, а скорее ревнивого соперничества, так что в прощенное Воскресенье обе стороны непременно друг перед другом калялись и чистосердечно друг друга же прощали, что вовсе не мешало соперничеству после Пасхи длиться и далее.

Увы, этому идиллическому, или, как по некоторой склонности к цинизму выражался сам Матвей Бенционович, травоядному, противостоянию пришел конец, когда на мирном заволжском горизонте возникла грозная туча. Принесло ее холодным западным ветром со стороны лукавого, недоброго Петербурга.

* * *

Как-то вечером, тому три недели, полицейскому солдату, что стоит для порядка у въезда в город и по старой привычке называется у нас «будочником», было видение. В дальнем конце Московского тракта, над которым, придушив закат, наливались густым фиолетом грозные тучи, показалось облачко пыли, приближавшееся к Заволжску с небывалой для местных обычаев быстротой. Некоторое время спустя будочник услышал гортанное, клекочущее погикивание явно нехристианского звучания и уже тогда захотел перекреститься, да поленился (добавим от себя, зря). Вскоре после этого из пыльного шара, ходко катившегося по шоссе, вырвалась пара взмыленных вороных с выпученными от усердия безумными глазами, а над ними высвистывал кнутом черноротый разбойник в косматой папахе и латаной черкеске, по-орлиному клекоча и свирепо вращая такими же кровавыми, как у коней, глазами. От такого зрелища будочник разинул рот и даже подорожную не спросил. Разглядел только в окошке какого-то седого, благообразного человека, милостиво ему кивнувшего, а в глубине кареты еще и второго, но смутно – только востроносый профиль и сверкнувший пугающим блеском глаз. Карета прогрохотала по булыжнику длинной, полутораверстной Московской улицы, пересекла Храмовую площадь и свернула в ворота лучшей заволжской гостиницы «Великокняжеская». И еще, говорят, в ту самую пору как карета мчалась мимо архиерейского подворья, было знамение: невесть откуда налетела стая воронья и согнала с крестов владычьею домовою церквю мирных сизарей, которые с незапамятных времен держали сей возвышенный пункт за свою исконную вотчину. Впрочем, про нападение воронов, вероятно, врут, потому что в нашем городе вообще врут легко и вдохновенно.

Назавтра уже было известно, что в Заволжск пожаловал ревизующий от Синода, чиновник для особых поручений при самом обер-прокуроре Победине, которого в империи звали не иначе как по имени-отчеству. Скажут: «Константин Петрович вчера опять государю наставление делал» или, к примеру: «У Константин Петровича здоровье на поправку пошло» – и никто не переспросит, что за Константин Петрович такой, – и без того ясно.

Осведомленные в высшей политике люди – те сразу с уверенностью сказали, что Константин Петрович губернией недоволен и что это сулит изрядные неприятности и владыке, и Антону Антоновичу. И причину сразу назвали: недостаточно прилежны заволжские управители в искоренении иноверства и насаждении православия.

Известно также сделалось и про личность ревизующего. Город наш хоть и удален от столиц, но все же не на Луне живем. Есть у нас и хорошее общество, и дочек наша аристократия в Петербург на сезоны вывозит, и письма от знакомых получает. Так что все примечательные и просто любопытные происшествия, случающиеся в большом свете, доходят и до Заволжска.

Владимир Львович Бубенцов обнаружился фигурой куда как любопытной. До прошлогоднего скандала, подробнее описанного не только в частных письмах из Петербурга, но и в газетах, служил он в гвардии, имел славу человека беспутного и опасного, какие не столь уж редко встречаются среди наших блестящих гвардионцев. Рано получил наследство, рано спустил его в кутежах, потом опять разбогател, играя в карты, и играл что-то очень уж удачно, так что и до дуэлей доходило, но без последствий. У нас ведь начальство к офицерским поединкам снисходительно, если дело обходится без смертельного исхода и тяжких увечий, и даже до некоторой степени поощряет, видя в этих ристалищах укрепление рыцарского духа и воинской чести. Но, как говорится, повадился кувшин по воду ходить.

Кроме карт, была у Владимира Львовича еще одна страсть – женщины, и слыл он одним из первых столичных ловеласов. И вот соблазнил он одну девицу из незнатной, но вполне уважаемой семьи, да еще обошелся с ней как-то особенно жестоко, так что бедняжка даже пробовала вешаться. Подобных историй за Бубенцовым числилось много, но на сей раз с рук ему не сошло. У соблазненной девицы нашлись защитники, два брата, офицер и студент. Про Владимира Львовича все знали, что он стрелок от Бога, а вернее от черта, что дуэлей он не боится, так как запросто может пулей у противника пистолет из руки выбить и не раз это проделывал. Бретеру, живущему карточной игрой, репутация этакого рода необходима – отлично предохраняет от подозрений в нечистой игре и лишних скандалов.

Понимая, что одним картелем тут удовлетворения не получишь, братья девицы решили сквитаться с обидчиком по-своему. Оба они были смелые, богатырского

сложения молодцы, хаживавшие на медведя с рогатиной. Как-то раз подкараулили Владимира Львовича у подъезда квартиры, когда он утром возвращался с очередной игры. Нарочно подгадали, чтобы он был в статском – иначе не избежать бы им суда за оскорбление мундира. Один, студент, сзади схватил Бубенцова за плечи и над землей приподнял, поскольку был много выше ростом, а второй, драгун, отхлестал Владимира Львовича арапником по лицу. И всё это прямо на улице, на глазах у прохожих. Бубенцов сначала брыкался, вырывался, ногами сучил, а когда понял, что не совладать, только жмурился, чтоб глаз не выбили. Когда братья вдоволь натешились, на землю его швырнули, избитый сказал – негромко, но люди услышали: «Дьяволом клянусь: весь род ваш пресеку». Именно так и сказал.

На рассвете следующего дня дрался с обоими, что у нас в России вроде как и не заведено, однако случай был особенный, и секундантам пришлось согласиться.

По условиям Владимир Львович сначала стрелялся со старшим братом. На тридцати шагах, с выходом на барьеры. Бубенцов не дал противнику и на пядь приблизиться, выстрелил сразу. Угодил пулей в такое место, что назвать стыдно. Драгун уж на что был мужчина крепкий, не слюнтяй, но покатился по земле, пронзительно воя и заливаясь слезами. И притом ясно было, что пуля попала именно туда, куда целил Бубенцов со своей дьявольской меткостью.

Тут же стал с младшим стреляться. А тот дрожит, лицо бледнее полотна, потому что брат все кричит и лекаря к себе не подпускает. От нервов выстрелил студент первым, не успев толком прицелиться, и, конечно, смазал. Тут-то Владимир Львович над ним и покуражился. Поставил на самый барьер, в десяти шагах, и долго дуло наводил. Секунданты уж думали, пожалеет мальчишку, попугает да в воздух выстрелит. Но Бубенцов рассудил по-своему.

Студент стоял перед ним боком, да еще и пистолетом на всякий случай чресла прикрывал. Колени подгибаются, по лицу холодный пот стекает. Только голова всё дергается – то на черную дырку бубенцовского дула, то вбок, на раненого брата. Вот Владимир Львович и подгадал момент, когда юноша был профилем повернут – снес ему тяжелой пулей подбородок вчистую.

В общем, убить братьев не убил, а род пресек, как грозился. У старшего потомства отныне быть не могло, а за младшего кто ж теперь пойдет, когда у него лицо снизу фуляром прикрыто, слюна в отстойник стекает, да и говорит так невнятно, что без привычки не разберешь.

История с двойной дуэлью вызвала много шума, и получил Бубенцов суровое наказание – десять лет крепости. Там бы и гнить ему в каменном мешке, но чем-то этот жестокий мститель заинтересовал самого Константина Петровича. Не один, не два и не десять, а много больше раз навещал обер-прокурор узника в каземате, вел с ним тихие, проникновенные беседы о человеческой душе, об истинном смысле православия и о крестном пути России. И такие эти разговоры возымели на Владимира Львовича воздействие, что увидел он свою грешную жизнь совсем в ином свете и устрасился. Говорили, что через это прозрение открылся ему дар слезный, и нередко бывало, что они вдвоем с Константином Петровичем вовсе ни о чем не говорили, а просто плакали и молились. Стал арестант склоняться к тому, чтобы постриг принять, а затем, по всей вероятности, и схиму, но Константин Петрович не позволил. Сказал, рано вам еще, недостойны вы служить Властителю Небесному, пока не искупили своей вины перед властителем земным. Мол, послужите-ка сначала на службе невидной, скромной, нестяжательной, поучитесь смирению и благочестию. Бубенцов был согласен и на это, лишь бы угодить своему наставнику. И что же – выпросил обер-прокурор у государя высочайшее помилование для осужденного и взял его к себе в ведомство доверенным чиновником.

Известно, что более всего мы любим не тех, кто сделал нам благо, а тех, кого благодетельствовали сами и кто, по вечному нашему заблуждению, якобы должен испытывать к нам беспредельную признательность. Очевидно, именно поэтому Константин Петрович полюбил спасенного им грешника всей душой и стал возлагать на него немалые надежды, тем более что Бубенцов, по всеобщему признанию, выказал себя работником талантливый и неутомимый. Рассказывают, что он и в самом деле совершенно преобразился, с бретерством покончил полностью, да и с женским полом стал вести себя не в пример осмотрительней. С первой ответственной миссией – искоренением скопчества в одной из северных губерний – Владимир Львович справился так решительно и энергично, что заслужил наивысшую похвалу от своего благодетеля и, более того, был удостоен высочайшей аудиенции. Разумеется, на всякого любимца Фортуны сыщутся и злые языки. Про нового обер-прокурорского фаворита говорили, что он озабочен не столько великим будущим России, сколько своим собственным в этой будущей России будущим, но, в конце концов, разве не приложим сей упрек ко всем государственным мужам, за очень редким исключением?

Вот какого необычного посланца направила высшая церковная власть в сонное заволжское царство, чтобы произвести в нем переворот и смятение. А метода, к

которой прибег Владимир Львович для достижения своих пока еще не вполне ясных целей, была настолько оригинальна, что заслуживает подробного описания.

* * *

Первым делом эмиссар Святейшего Синода сделал ряд визитов, причем начал с губернатора, как того требовали учтивость и официальный характер поездки.

Антон Антонович, уже получивший о столичном госте все указанные выше сведения, ожидал увидеть неопита, этакого Матфея-мытаря, самую опасную разновидность вероблюстительского племени, и потому заранее настроился на крайнюю осторожность. Зато Людмила Платоновна, чью фантазию потрясло не столько духовное возрождение сего Кудеяра, сколько его былые прегрешения, была настроена решительно и непримиримо, хоть внутренне немножко и замирала сердцем. Губернаторше рисовалось, как в ее уютной гостиной объявится inferнальный красавец, погубитель невинных дев, волк в овечьей шкуре, и приготовилась, с одной стороны, не поддаться его сатанинским чарам, а с другой, с самого начала поставить супостата на место, ибо Заволжск – это ему не развратный Санкт-Петербург, где женщины легкодоступны и безнравственны.

Нечего и говорить, что с такой репутацией, как у Бубенцова, да еще на провинциальном безрыбье, любой мужчина, хоть бы и не слишком авантажной наружности, имел бы все шансы показаться если не писанным красавцем, то по крайней мере «интересным типажем».

И все же в первую минуту губернаторша испытала глубокое разочарование. В гостиную с поклоном вошел сублильный, если не сказать тщедушный, господин на вид лет тридцати, до чрезвычайности подвижный в суставах («вихлястый» – определила Людмила Платоновна, любившая формулировки емкие и простые). Впрочем, справедливости ради признала она, визитер был отлично сложен, а во всей его узкой фигуре ощущалась упругая гибкость рапирного клинка, но это делало Владимира Львовича невыигрышно похожим на местного франтика мсье Дюдеваля, учителя танцев из Заволжского пансиона благородных девиц. И лицом Бубенцов оказался не красавец: черты острые, хищноватые, нос клювом, светлые немигающие глаза чем-то напоминают совиные. Некоторую привлекательность этой физиономии, пожалуй, придавали только брови вразлет

и пушистые ресницы. Людмила Платоновна предположила, что ими-то он своих несчастных жертв и соблазнял. Однако для того, чтобы понравиться хозяйке губернаторского особняка, требовались достоинства посущественней, что она и дала ему понять, не дав руки для поцелуя.

При начале разговора петербургский ферт понравился ей и того меньше. Голос у него оказался негромкий, ленивый, с небрежным растягиванием гласных. По лицу вяло гуляла скучливо-любезная улыбка.

Впоследствии, когда заволжане получили возможность узнать Владимира Львовича получше, стало ясно, что такова была его обычная манера при первой беседе с незнакомыми людьми, если только он не поставил себе цели произвести на собеседника некое особенное, нужное ему впечатление. Тем сильнее был эффект внезапных метаморфоз, когда вялость и пустословие сменялись напором и неожиданными *touche*[2 - укол в фехтовании (фр.).] – этим приемом Бубенцов владел в совершенстве.

С бароном и баронессой он завел разговор о всяких пустяках, к цели поездки никакого отношения не имевших: об утомительности дороги, о последних модах, о преимуществах английских лошадей перед арабскими. Антон Антонович слушал внимательно, поддакивал и прикидывал, насколько опасен сей болтун. Сам при этом изображал благонамеренную туповатость, что, заметим, у него замечательно получалось. Вывод у барона получился неутешительный: кажется, опасен, и даже весьма.

Людмила Платоновна из принципа в светской беседе участия не принимала, сидела с суровым видом, неприязненно разглядывала удивительно маленькие, изящные руки опасного чиновника, поигрывавшие кружевным веером (вечер выдался душный), и думала – тоже граф Нулин выискался.

В пять минут гость сообразил, кто из этих двоих главней, и на губернатора смотреть почти перестал, а говорил, обращаясь исключительно к губернаторше. Создавалось впечатление, что ему доставляет удовольствие раздражать Людмилу Платоновну скучающим, снисходительным взглядом из-под своих превосходных ресниц. От этого возмутительного разглядывания она чувствовала себя очень неуютно, будто вышла к гостю не вполне одетой.

А ближе к концу получасового визита случилось вот что. В залу заглянул секретарь, и барон, извинившись, отошел к столу подписать какую-то важную бумагу (собственно, даже известно какую – об освобождении книжной торговли от акцизных сборов). Тут Бубенцов все так же лениво, не меняя тона и выражения лица, спросил:

– Я слышал, любезная Людмила Платоновна, вы сильно благотворительностью увлекаетесь? Будто бы прямо рук не покладаете? Похвально, похвально...

Покоробленная тоном, каким были произнесены эти слова, губернаторша сухо и даже язвительно ответила:

– А разве есть времяпрепровождение более достойное для женщины моего положения?

Удивленно приподнялась ровная, будто нарисованная бровь, один мерцающий глаз воззрился Людмиле Платоновне прямо в душу, второй же, наоборот, прищурился и стал почти не виден.

– Ну и вопрос. Сразу видно, что вы никогда не любили и даже, кажется, вообще не знаете, что такое любовь.

Хозяйка вспыхнула, но не нашлась что сказать, да и вообще усомнилась – не прислышалось ли, потому что странные слова были произнесены безо всякого выражения. Тут и Антон Антонович вернулся, так что момент для отпора в любом случае был упущен.

Гость еще минут пять после этого болтал про какую-то ерунду, но губернаторша смотрела на него уже по-другому – то ли с испугом, то ли с неким ожиданием.

А уже откланиваясь и подойдя к ручке (на этот раз Людмила Платоновна почему-то поцелую не противилась), инспектор шепнул:

– Так ведь вся жизнь меж пальцев протечет. Грех.

Ловкий человек – воспользовался тем, что губернатор в этот момент самозабвенно, до челюстного хруста зевал, деликатно прикрыв рот сухой

ладонью, и потому слышать нахальных слов не мог.

Только всего и было. Но, ко всеобщему, и более всех самого Антона Антоновича, удивлению, с того дня Людмила Платоновна стала отличать петербуржца – можно сказать, взяла под свое покровительство. Он повадился часто бывать на ее половине и входил запросто, без доклада. И тогда по губернаторскому дому разносились звуки рояля, пение в два голоса и веселый смех. Антон Антонович сначала пытался участвовать в веселье, однако очень мучился явной своей излишностью, удалялся якобы для неотложных дел и потом мучился еще больше в тиши кабинета, ломая белые сухие пальцы. Были и выезды в узком кругу на пикник, и катания на лодке, и прочие дозволенные приличиями развлечения. Возможно, Владимиром Львовичем руководила искренняя симпатия к баронессе, которая, как мы уже упоминали, блистала и красотой, и качествами души, но несомненно и другое: тесная дружба с самой влиятельной женщиной губернии была нужна синодскому комиссару и для иных целей.

* * *

Прямо от супругов фон Гаггенау вновь прибывший отправился с визитом к почтмейстерше Олимпиаде Савельевне Шестаго, хозяйке салона, оппозиционного губернаторскому. Общество Заволжска в ту пору было поделено на две негласные партии, которые можно условно определить как консервативную и прогрессистскую (последнюю еще иногда по старой памяти называли либеральной, хотя в нынешней России это слово решительно выходит из моды). Оба лагеря возглавлялись женщинами. Консервативная партия, как тому и надлежит быть, являлась правящей, и истинным ее вождем была Людмила Платоновна. Большинство чиновников и их жен по положению, роду деятельности и естественным убеждениям тяготели именно к этому штандарту.

В партию оппозиционную входили в основном люди молодые и дерзкие из числа учителей, инженеров и телеграфно-почтовых служащих, причем политическая окраска последних определялась принадлежностью к ведомству, которым руководил супруг Олимпиады Савельевны, находившийся в совершеннейшем рабстве у своей половины. Госпожа Шестаго в городе почиталась за красавицу, но совсем в ином роде, нежели губернаторша: брала не статностью и милодушием, а, напротив, худобой и злоязычием, или же грациозностью и интеллектуализмом, как определяла эти достоинства сама Олимпиада Савельевна. Происходила сия дама из рода купцов-миллионщиков и принесла

мужу в приданое триста тысяч, о чем не забывала напомнить ему при малейшем помрачении семейного небосвода, по большей части исключительно безоблачного. В ее богатом, хлебосольном доме поощрялись такие экзотические для Заволжья обычаи, как безбожие, чтение запрещенных газет и вольные рассуждения о парламентаризме. На четверги Олимпиады Савельевны всякий мог приходить запросто, и приходили очень многие, потому что, как было сказано, стол отличался обилием, да и разговоры по провинциальным меркам случались интересные.

Поскольку день первых визитов Бубенцова выпал как раз на четверг, он и заявился в стан прогрессистов, не озаботясь быть приглашенным, что – как и сам факт посещения почтмейстерши – свидетельствовало о доскональном знании обычаев и расстановки сил в губернии.

Появление петербуржца произвело среди либералов настоящий фурор, так как между собой они уже решили, что этот агент реакции прислан именно из-за них, искоренять в заволжском обществе вольнодумство и крамолу. С одной стороны, это было тревожно, с другой, пожалуй, приятно (еще бы, сам обер-прокурор обеспокоен заволжскими карбонариями), но больше все-таки тревожно.

Однако «агент реакции» оказался вовсе не страшен. Во-первых, он выказал полнейшее отсутствие всякого обскурантизма и совершенно свободно говорил о новой литературе – о графе Толстом и даже о французской натуральной школе, о которой в городе пока знали больше понаслышке. Изрядное впечатление произвел и острый как бритва язык гостя. Когда инспектор народных училищ Илья Николаевич Федякин, слышавший у прогрессистов язвой, каких мало, попробовал дать чересчур самоуверенному говоруну укорот, выяснилось, что Владимир Львович туземному зоилу не по зубам.

– Приятно слышать такие смелые суждения из уст служителя богобоязненности, – сказал Илья Николаевич, иронически щуря глаза и поглаживая бороду, что у него обозначало нешуточное раздражение. – С обер-прокурором, поди, частенько этак вот о физиологической любви у Мопассана рассуждаете?

– «Физиологическая любовь» – это масло масляное, – тут же срезал оппонента Бубенцов. – Или у вас в Заволжске все еще преобладает романтический взгляд на отношения между полами?

Олимпиада Савельевна даже покраснела – так неловко ей стало перед умным человеком, что Федякин сидит у нее на самом почетном месте, во главе стола, и поспешила высказаться против всякого ханжества и притворства в половом партнерстве.

С почтмейстершей проворный петербуржец поступил еще решительней, чем с губернаторшей. Когда уходил – раньше всех прочих гостей, словно давая им возможность обстоятельно перемыть ему косточки, – Олимпиада Савельевна, к тому времени уже совершенно ослепленная столичным блеском, вышла проводить дорогого гостя в прихожую. Протянула руку для пожатия (целовать у прогрессистов, разумеется, было не в заводе), и Бубенцов руку взял, но не за кисть, а за локоть. Мягким, но поразительно властным движением притянул хозяйку к себе и, ни слова не говоря, поцеловал в уста так крепко, что у бедной Олимпиады Савельевны, которую за все двадцать девять лет жизни никто еще так не целовал, ноги сделались будто ватные и потемнело в глазах. К гостям она вернулась вся розовая и самым энергичным образом пресекла попытки мстительного Ильи Николаевича денигрировать ушедшего.

Таким образом, посланец Константина Петровича в первый же день пребывания в губернии завел приятные отношения с обеими заволжскими царицами, причем дружба с Олимпиадой Савельевной была особенно приятна еще и тем, что дом этой дамы непосредственно примыкал к зданию почтамта, где директорствовал ее супруг, с которым Бубенцов очень скоро тоже оказался на приятельской ноге, так что без церемоний заходил к нему в кабинет и имел неограниченный доступ к единственному на все Заволжье телеграфному аппарату. Этой привилегией Владимир Львович усердно пользовался и даже обходился без помощи телеграфиста, поскольку, как выяснилось, превосходно умел обращаться с хитроумной машиной Бодо. Иной раз бывало, что синодский инспектор заглядывал на почтамт и за полночь, что-то там отправлял, получал и вообще держался как у себя дома.

* * *

Но если среди местных дам триумф балтийского варяга был сокрушителен и несомненен, то с мужчинами вышло менее гладко.

Единственным явным завоеванием на этом поприще (почтмейстер Шестаго не в счет, потому что лицо несамостоятельное) для Бубенцова стал союз с

полицмейстером Лагранжем.

На то имелись свои причины. Феликс Станиславович Лагранж в городе был человеком новым, присланным взамен недавно почившего подполковника Гулько, многолетнего верного помощника во всех начинаниях Антона Антоновича и владыки Митрофания. Покойника у нас все любили, все к нему привыкли, и министерского назначенца приняли настороженно. Новый полицмейстер был мужчина крупный, красивый, с аккуратными височками и живописно нафабранными усами. Вроде и услужлив, и к начальству почтителен, но архиерею не понравился – сам напросился ходить к преосвященному на исповедь, а слова говорил неискренние и чересчур интересничал по части набожности.

Заволжск полицмейстеру тоже не угодил. Прежде всего тем, что очень уж смирен и бессобытиен. По счастью, в губернии вовсе отсутствует революционная зараза, потому что до Митрофания и барона она завестись не успела, а после было не с чего. Ни больших мануфактур, ни университетов у нас нет, особенных социальных несправедливостей тоже не наблюдается, а какие есть, на те можно пожаловаться начальству, так что бунтовать вроде бы и незачем. Вопреки государственному обыкновению, в губернии даже нет собственного жандармского управления, потому что раньше, когда было, служащие от безделья спивались или впадали в меланхолию. Полицмейстер в Заволжске заодно ведает и всеми делами жандармской части, на что первоначально и польстился Феликс Станиславович, когда соглашался на это назначение. Это уж он потом понял, как жестоко подшутила над ним судьба.

Обстоятельства, при которых завязалась дружба Бубенцова с полицейским предводителем, остались неведомы для местных жителей, хотя от их внимания вообще-то мало что укрывается, и произошло это сближение так стремительно, что возник слух: инспектор в губернию не просто так припожаловал, а по тайной ябеде Лагранжа, который решил не мытьем, так катаньем обратить к своей персоне взоры высшей власти. Во всяком случае, после прибытия синодального инквизитора Феликс Станиславович произвел демонстрацию – вовсе перестал ходить на исповедь к преосвященному.

Итак, в считанные дни Бубенцов произвел в Заволжске настоящий *coup d'etat* [3 - государственный переворот (фр.)], захватив почти все стратегические пункты: администрацию в лице Людмилы Платоновны, полицию в лице Феликса Станиславовича и общественное мнение вкупе с почтой и телеграфом в лице

Олимпиады Савельевны. Оставалось прибрать к рукам власть церковную и судебную, но тут-то и вышла осечка.

* * *

Владыка, к которому Бубенцов явился в пятницу, наутро после первых своих визитов, был с непрошеным проверяльщиком суров и, уклонившись от пустых разговоров, сразу спросил, в чем, собственно, состоят цель приезда и полномочия синодального эmissара. Владимир Львович немедленно переменял манеру (а начинал этак постно-благостно, с цитатами из Священного Писания) и коротко, деловито изложил суть своей миссии:

– Владыко, вам отлично известно, что современная государственная линия в отношении религиозного обустройства России заключается во всемерном усилении руководящей и наставляющей роли православия как духовной и идейной опоры империи. Держава наша велика, но неустойчива, потому что одни верят в Христа трехперстно, другие двухперстно, третьи слева направо, пятые признают Иегову, а Христа отвергают, шестые и вовсе поклоняются Магомету. Думать можно и должно по-разному, но вера у многонационального народа, который хочет остаться единым, должна быть одна. Иначе нас ждут раздор, междуусобица и полный крах нравственности. Вот в чем состоит кредо Константина Петровича, и государь придерживается того же взгляда. Отсюда и настойчивые требования, с которыми Святейший Синод обращается к архипастырям тех губерний, где многочисленны иноверцы и схизматики. Из западных, из балтийских, даже из азиатских губерний архиереи ежемесячно доносят о тысячах и десятках тысяч обращенных. Из одного только Заволжья, где процветают и раскол, и магометанство, и даже язычество, никаких отрядных вестей не поступает. Заявляю прямо: я прислан сюда прежде всего для разъяснения, чем вызвана эта пассивность – неумением или нежеланием.

Владимир Львович сделал уместную для сих слов паузу и продолжил уже значительно мягче:

– Ваше бездействие наносит ущерб монолитности империи и самой идее российской государственности, подает скверный пример прочим архиереям. Я с вами, владыко, совершенно откровенен, поскольку вижу в вас натуру практическую, а вовсе не прекраснодушного мечтателя, каким представляют вас некоторые у нас в Петербурге. Так что давайте говорить без экивоков, по-

деловому. У нас с вами есть общий интерес. Нужно, чтобы здесь, в Заволжье, произошло настоящее торжество истинноверия – поголовный переход староверов в лоно православия, многотысячное крещение башкиров или еще что-нибудь столь же впечатляющее. Это будет спасительно для вас, поскольку ваша епархия выйдет из числа опальных, и весьма полезно для меня, потому что эти свершения станут прямым результатом моей поездки.

Видя недовольство на лице собеседника и ошибочно приняв эту гримасу за сомнение, Бубенцов добавил:

– Ваше преосвященство не знает, как взяться за дело? Не извольте беспокоиться. Для того я и прислан. Отлично все устрою, только не ставьте мне палок в колеса.

Владыка, как человек и в самом деле прямой, не стал ходить вокруг да около и ответил в том же тоне:

– Это ваше кредо – вредная глупость. Константин Петрович не вчера на свет родился и не хуже меня понимает, что насильно никого к иной вере не склонишь, и речь может идти лишь о следовании тому или иному религиозному обряду, а это в смысле монолитности государства никакого значения не имеет. Полагаю, что господин обер-прокурор преследует какие-то иные цели, к вере касательства не имеющие. Например, внедрение полицейских способов правления и в сферу духовную.

– Ну и что с того? – хладнокровно пожал плечами Бубенцов. – Наша с вами империя если и устоит, то лишь благодаря усилию воли, проявленному властью предержавшей. Всякий инакомыслящий и инаковерующий должен ежечасно помнить о том, что за ним есть досмотр и пригляд, что баловать и своенравничать ему не дадут. Свободы – это для галлов и англосаксов, наша же сила – в единстве и послушании.

– Вы мне толкуете про политику, а я вам про человеческую душу. – Митрофаней вздохнул и далее сказал такое, чего не следовало бы. – У меня в епархии новообращенных мало, потому что не вижу резона раскольников, мусульман и немецких колонистов в православие переманивать. По мне пусть всякий верует как хочет, только бы в Бога веровал, а не в дьявола. Вели бы себя по-божески, и довольно будет.

Бубенцов, блеснув глазами, сказал – вкрадчиво, но с неприкрытой угрозой:

– Интересное суждение для губернского архиерея. Отнюдь не совпадающее с мнением Константина Петровича и государя императора.

К сему моменту Митрофанию уже всё стало ясно и про посетителя, и про его дальнейшие вероятные демарши, поэтому владыка не церемонясь поднялся, показывая, что разговор окончен:

– Знаю. Оттого и сообщаю вам свое суждение без свидетелей, для полной меж нами недвусмысленности.

Поднялся и Бубенцов, коротко сказал с поклоном:

– Что же, за откровенность благодарю.

Удалился и более своими посещениями архиерейское подворье не обременял. Объявление войны было сделано и принято. Наступила пауза, обычная перед началом генеральной баталии, и ко времени, когда начинается наша история, это затишье еще не окончилось.

* * *

Вскоре после неудачного наступления на твердыню веры последовал набег на опору правосудия. Просвещенный своими доброхотами, к тому времени уже многочисленными, Бубенцов подступился не к председателю окружного суда и не к окружному прокурору, а к помощнику сего последнего Матвею Бенционовичу Бердичевскому.

Беседа состоялась в Дворянском клубе, куда Матвея Бенционовича приняли сразу же по выслуге им личного дворянства на основании рекомендации барона фон Гаггенау. В клуб Бердичевский заглядывал частенько, и не из фанаберии, свойственной выскочкам, а по более прозаической причине: дома у многодетного товарища прокурора царил такой шахсей-вахсей, что даже сему чадолюбивому отцу семейства иной раз требовалась передышка. Обыкновенно Матвей Бенционович сидел вечером один в клубной библиотеке и играл сам с собой в шахматы – достойных противников по этой мудреной игре в нашем

городе у него не было.

Владимир Львович подошел, представился, предложил сыграть. Получил право первого хода, и на какое-то время в библиотеке воцарилась полная тишина, лишь изредка по доске звонко постукивали малахитовые фигурки. К удивлению и удовольствию Бердичевского, соперник ему попался нешуточный, так что пришлось повозиться, но все же мало-помалу черные стали брать верх.

- Процессик бы, - вздохнул вдруг Бубенцов, прервав молчание.

- Что-с?

- Мы ведь с вами одного поля ягоды, - душевно сказал Владимир Львович. - Лезем вверх, срывая ногти, а все вокруг только и норовят спихнуть вниз. Вы - выкрест, вам трудно. Вся ваша опора - губернатор и владыка. Однако, уверяю вас, ни первый, ни тем более последний долго не продержатся. Что с вами-то будет? - Поставил слона, объявил: - Гарде.

- Процессик? - переспросил Матвей Бенционович, сосредоточенно глядя на доску и вертя пальцами кончик своего длинного носа (имелась у него такая неприятная привычка).

- Именно. Над раскольниками. Кощунства там какие-нибудь, а еще лучше бы изуверства. Глумление над православными святынями тоже неплохо. Начать надобно с какого-нибудь купчины, из особо почитаемых. У богатого человека мощна всегда впереди веры идет. Как следует прижать - поймет свою выгоду, отступится, а за ним и многие потянутся. Сейчас со староверов, поди, и полиция мзду имеет, и консисторские, и ваши судейские, а тут мы с них возьмем не деньгами - троеперстием, и чтоб непременно с чады, домочадцы и прихлебатели. Каково?

- Не имеют, - ответил Матвей Бенционович, вычисляя какую-то головоломную комбинацию.

- В каком смысле?

– Полиция и консисторские с раскольников. И судейские тоже. У нас в губернии не заведено-с. Пешечку возьму.

– А ферзь? – удивился Бубенцов, но тут же не мешкая ферзя сожрал. – Вот так же и покровители ваши съедены будут, и в самом скором времени. Мне, господин Бердичевский, понадобится в помощь опытный законник, хорошо знающий местные условия. Подумайте. Это ведь большой карьерой пахнет, хоть бы даже и не по чисто юридической, а по церковно-судебной части. Там и ваше еврейство не помеха. Многие столпы благозакония происходили из вашей нации, да и сейчас среди выкрестов имеются ревностнейшие пропагаторы православия. И про последствия упрямства тоже подумайте. – Он красноречиво помахал взятым ферзем. – У вас ведь семья. И я слышал, снова прибавление ожидается?

Отчаянно труся и оттого избегая поднимать глаза от доски, Матвей Бенционович пробормотал:

– Извините, сударь, но, во-первых, вам мат. А во-вторых (это он произнес уже совсем почти что шепотом и с сильным дрожанием голоса) – вы негодяй и низкий человек.

Сказал и зажмурился, вспомнив разом и про двойную дуэль, и про двенадцать детей, и про грядущее прибавление.

Бубенцов усмехнулся, глядя на побледневшего храбреца. Оглянулся, нет ли кого поблизости (никого не было), пребольно щелкнул Матвея Бенционовича по кривому носу и вышел вон. Бердичевский шмыгнул ноздрями, уронил на шахматную доску две вишневые капли, сделал неубедительную попытку догнать обидчика, но в глазах от выступивших слез всё затянулось радужной пленкой. Матвей Бенционович постоял-постоял и снова сел.

* * *

И теперь осталось только рассказать про свиту необычного синодального проверяльщика, ибо в своем роде эта пара была не менее колоритной, чем сам Владимир Львович.

Секретарем при нем состоял губернский секретарь Тихон Иеремеевич Спасенный, тот самый благообразного вида господин, что ласково кивнул будочнику из окна черной кареты. По самой фамилии этого чиновника, а еще более по манере держаться и разговаривать было ясно, что происходит он из духовного звания. Говорили, что Константин Петрович приблизил его к своей особе, выдвинув из простых псаломщиков – видно, усмотрел в скромном причетнике нечто особенное. В Синоде Тихон Иеремеевич состоял на должности мелкой, невидной и малооплачиваемой, однако часто бывал удостоен доверительных, с глазу на глаз, бесед с самим обер-прокурором, так что многие, даже и среди иерархов, его побаивались.

К Бубенцову этот тихий как мышь чиновничек был приставлен в качестве ока доверяющей, но проверяющей власти и поначалу выполнял свои обязанности добросовестно, но ко времени прибытия вышеупомянутой кареты в Заволжск совершенно подпал под чары своего временного начальника и сделался безоговорочным его клеветом, очевидно рассудив, что «никтоже может двема господинома работати». Чем взял его Владимир Львович, нам неведомо, но думается, что для такого изобретательного и талантливоего человека задача оказалась не из трудных. Тихон Иеремеевич сохранил верность своему ремеслу, только теперь шпионил и вынюхивал не во вред Бубенцову, а исключительно ради его пользы – очень возможно, что, будучи человеком дальнего ума, углядел в подобной смене вассальной зависимости для себя выгоду. При невеликом росте и вечной привычке втягивать голову в плечи Спасенный обладал противоестественно длинными, клешастыми руками, свисавшими чуть не до колен, поэтому Владимир Львович первое время звал его Орангутаном, а после приспособил ему еще более обидную кличку Срачица. (Дело в том, что Тихон Иеремеевич отличался истовой набожностью, через слово, к месту и не к месту, употреблял речения из Священного Писания и как-то раз имел неосмотрительность произнести перед своим сюзереном, что во убережение от лукавого носит под сюртуком некую особенную сорочку, которую назвал «освященной срачицей».) На шутки начальника Спасенный, как подобает христианину, не обижался и лишь кротко повторял: «Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя и паче снега убелюся».

Губернский секретарь повсюду тенью следовал за Бубенцовым, однако при этом каким-то чудом успевал еще и мелькать в самых неожиданных местах, благо в Заволжске он освоился на удивление быстро. То его видели в храме подпевающим на клиросе, то на базаре торгующимся из-за меда с пасечниками-староверами, то в салоне у Олимпиады Савельевны беседующим со стряпчим Коршем, который считается у нас в губернии первым докой по наследственным

делам.

Поразительно, как субъект, подобный Спасенному, мог водиться и даже приятельствовать с зверообразным бубенцовским кучером. Этот Мурад был сущий абрек, разбойник с большой дороги. В Заволжске его окрестили Черкесом, хотя был он не из черкесов, а из какого-то другого горского племени. Ну да кто их там, чернобородых, разберет. Мурад состоял при Владимире Львовиче не только кучером, но и камердинером, и дядькой, а при случае и телохранителем. Никто толком не знал, с чего он был так по-собачьи предан своему господину. Известно лишь, что ходил он за Бубенцовым с самого детства и достался ему в наследство от отца. Бубенцов-старший, из кавказских генералов, когда-то давно, лет двадцать или тридцать назад, спас юного Мурада Джураева от мести кровников, увез с собой в Россию. Может, и еще что-то там было особенное, но этого заволжанам вызнать не удалось, а Мурада расспрашивать храбрости не хватило. Больно уж страшно он смотрелся: башка бритая, лицо всё заросло густым черным волосом до самых глазищ, а зубы такие – руку по локоть откусит и выплюнет. По-русски Мурад говорил мало и нехорошо, хоть прожил среди православных много лет. Веру тоже сохранил магометанскую, за что подвергался миссионерскому просвещению со стороны Тихона Иеремеевича, но пока безрезультатно. Одевался по-кавказски: в старый бешмет, стоптанные чупяки, на поясе – большущий окованный серебром кинжал. В кривоногой раскачливой походке Мурада, в широких плечах ощущалась звериная сила, и мужчины в его присутствии чувствовали себя скованно, а женщины простого звания пугались и замирали. Как это ни странно, у кухарок и горничных Черкес пользовался репутацией интересного кавалера, хотя обходился с ними грубо и даже свирепо. На второй неделе бубенцовского пребывания заволжские пожарные сговорились с мясниками поучить басурмана уму-разуму, чтоб не портил чужих девок. Так Мурад в одиночку разметал всю дюжину «учителей» и потом еще долго гонялся за ними по улицам, Федьку-мясника догнал и, верно, убил бы до смерти, если б не подоспел Тихон Иеремеевич.

До убийства не дошло, но некоторые из горожан, кто подальновидней, призадумались, чувствуя в этом скандале, а особенно в том, что полиция не посмела остановить буяна, приближение смутных времен. И то сказать, погромыхивало в губернской атмосфере, и черное небо озарялось пока еще безгласными, но зловещими зарницами.

Однако не слишком ли мы уклонились от основной линии нашего повествования? Сестра Пелагия давно уж вошла в широко распахнутые ворота дроздовского парка, и теперь придется за ней поспевать.

III. Милые люди

Дождь застиг Пелагию в полусотне шагов от ворот. Он полился дружно, обильно, весело, сразу дав понять, что намерен вымочить до нитки не только рясу и платок инокини, но и нижнюю рубашку, и даже вязанье в поясной сумке. И Пелагия утратилась. Оглянулась, не идет ли кто, подобрала полы и припустила по дороге с замечательной резвостью, чему способствовали занятия английской гимнастикой, которую, как уже говорилось, сестра преподавала в епархиальной школе.

Достигнув спасительной аллеи, Пелагия прислонилась спиной к стволу старого вяза, надежно укывшего ее своей густой кроной, вытерла забрызганные очки и стала смотреть на небо.

И было на что. Ближняя половина высокого свода сделалась лилово-черной, но не того глухого, мрачного цвета, какой бывает в беспросветно пасмурные дни, а с маслянистым отливом, будто некий небесный гимназист из озорства опрокинул на голубую скатерть фиолетовые чернила. До отдаленной половины скатерти пятно еще не распространилось, и там по-прежнему царствовало солнце, а по бокам с обеих сторон выгнулись две радуги, одна поярче и поменьше, другая потусклее, но зато и побольше.

А через четверть часа всё поменялось: ближнее небо стало светлым, дальнее темным, и это означало, что ливень кончился. Пелагия сотворила молитву по случаю благополучного избавления от потопа и зашагала по длинной-предлинной аллее, выводившей к помещицкому дому.

Первым из обитателей усадьбы, встретившихся путнице, был снежно-белый щенок с коричневым ухом, выскочивший откуда-то из кустов и сразу же, без малейших колебаний, вцепившийся монахине в край рясы. Щенок еще не вышел из младенческого возраста, но нрав уже имел самый решительный. Крутя лобастой башкой и сердито порыкивая, он тянул на себя плотную ткань, и было

видно, что так просто от этого занятия не отступится.

Пелагия взяла разбойника на руки, увидела шальные голубые глазки, розовый в черную крапинку нос, свисавшие на стороны бархатные щечки, отчего-то перепачканные землей, а иных подробностей рассмотреть не успела, потому что щенок высунул длинный красный язычок и с редкостным проворством облизал ей нос, лоб, а заодно и стекла очков.

На время ослепнув, монахиня услышала, как кто-то ломится через кусты. Запыхавшийся мужской голос сказал:

– Ага, попался! Опять землю где-то жрал, бисово отродье! Извиняй, сестрица, что лукавого помянул. Это его, несмышлениша, тятка с дедом приучили. Уф, спасибо, поймала, а то мне за ним не угнаться. Шустрый, чертяка. Ой, снова извиняй.

Пелагия одной рукой прижала теплое, упругое тельце к груди, другой сняла обслюнявленные очки. Увидела перед собой бородатого человека в ситцевой рубахе, плисовых штанах, кожаном фартуке – по виду садовника.

– Держите Закусая вашего, – сказала она. – Да покрепче.

– Откудова ты его прозвание знаешь? – поразился садовник. – Или бывала у нас? Что-то не вспомню.

– Нам, лицам монашеского звания, через молитву много чего открывается, обычным людям неведомого, – назидательно произнесла Пелагия.

Поверил бородатый, нет ли – неизвестно, но вынул из кармана пятиалтынный и с поклоном сунул инокине в сумку.

– Прими, сестрица, от чистого сердца.

Пелагия отказываться не стала. Самой ей деньги были не нужны, но Богу дарение, хоть бы и малое, в радость, если от чистого сердца.

– Ты в дом-то не ходи, – посоветовал садовник, – не сбивай зря ноги. Наши господа божьим людям милостыни не подают, говорят «принцып».

– Я к Марье Афанасьевне, с письмом от владыки Митрофания, – предъявила свои полномочия Пелагия, и дроздовский житель почтительно сдернул с головы картуз, поклонился, перешел с «сестрицы» на «матушку».

– Что ж сразу не сказали, матушка. А я как дурень с денежкой сунулся. Пожалуйте за мной, провожу.

Шел первым, держа обеими руками извивающегося, сердито повизгивающего Закуся.

Справа, на лужайке, подле белокаменной беседки бродил чудной господин в широкополой шляпе и крылатке. Он держал под мышкой немалого размера ящик черного лакированного дерева, в руке – длинную треногу с острыми, окованными железом концами. Воткнул треногу в землю, водрузил ящик сверху, и стало ясно, что это фотографический аппарат, которые даже и в нашей отдаленной губернии уже перестали быть редкостью.

Господин оглянулся, на монашку посмотрел мельком, без интереса, а садовнику сказал:

– Что, Герасим, настиг беглеца? А я вот по парку брожу. Снимаю, как пар от земли идет. Редкий оптический эффект.

Красивый был господин, с ухоженной бородкой, длинными вьющимися волосами, сразу видно, что не из местных. Пелагии он понравился.

– Художник это по фотографическим картинам, – пояснил спутнице Герасим, когда немного отошли. – Из самого Питербурха. Гостят у нас. Они Степана Трофимовича, управляющего нашего, приятели. А звать их Аркадий Сергеевич господин Поджио.

Прошли еще шагов сто, а до зеленой крыши было шагать и шагать. Сзади зачмокали копыта, топча слегка размокшую дорожку. Обернулась Пелагия – увидела легкую одноколку, а в ней румяного барина в белой пуховой шляпе и

полотняном сюртучке.

– Хорошего здоровьичка, Кирилл Нифонтович, – поклонился Герасим. – К ужину поспешаете?

– А куда ж еще? Тпру, тпру!

Выцветшие маленькие глазки, лучившиеся детски-наивным любопытством, воззрились на Пелагию, круглые щеки сложились складочками в добродушную улыбку.

– Кого это ты, Герасим, конвоируешь? Ого, и наследный инфант при тебе.

– Сестрица барыне послание от владыки несет.

Ездок сделал почтительную мину, приподнял с распаренной лысины шляпу:

– Позвольте отрекомендоваться. Кирилл Нифонтович Краснов, здешний помещик и сосед. Садитесь, матушка, прокачу, что ж вам утруждаться. И собакуса давайте прихватим, а то Марья Афанасьевна, поди, без него скучает. Глядит с высокого крыльца, не видно ль милого гонца.

– Это из Пушкина? – спросила Пелагия, усаживаясь рядом с симпатичным говоруном.

– Польщен, – поклонился тот, щелкнув кнутом. – Нет, это я сам сочиняю. Строчки льются из меня сами собой, по всякому поводу и вовсе без повода. Только вот в стихотворения не складываются, а то был бы славен не меньше Некрасова с Надсоном.

И продекламировал:

Мои стихи легки, как блохи.

Поверьте мне, мои стихи

Не так уж, в сущности, плохи,

Или, верней, не так уж плохи.

Через минуту-другую уже подъезжали к большому дому, снаряженному всеми атрибутами великолепия, каким оно рисовалось минувшему столетию – дорической колоннадой, недовольными львами на постаментах и даже медными gros-егерсдорфскими единорогами по краям лестницы.

В прихожей Краснов почему-то шепотом спросил у миловидной горничной:

– Что, Танюша, как она? Видишь, Закуся ей вот доставил.

Синеглазая пухлогубая Танюша только вздохнула:

– Очень плохи. Не едят, не пьют. Всё плачут. Только недавно доктор уехал. Ничего не сказал, головой вот этак покачал и уехал.

* * *

В спальне у больной было сумрачно и пахло лавандовыми каплями. Пелагия увидела широкую кровать, тучную старуху в чепце, полулежавшую-полусидевшую на груди пышных подушек, и еще каких-то людей, рассматривать которых прямо сразу, с порога, было неудобно, да и темновато – пусть сначала глаза привыкнут.

– Закусяюшка? – басом спросила старуха и приподнялась, протягивая дряблые полные руки. – Вот он где, брыластенький мой. Спасибо, батюшка, что доставил. (Это Краснову.) Кто это с вами? Монашка? Не вижу, подойди! (Это уже Пелагии.)

Та приблизилась к кровати, поклонилась.

– Вам, Марья Афанасьевна, пастырское благословение и пожелание скорейшего выздоровления от владыки. С тем и послал меня, инокиню Пелагию.

– Что мне его благословение! – сердито молвила генеральша Татищева. – Сам отчего не пожаловал? Ишь, черницу прислал, отделался. Вычеркну к лешему из духовной всё, что церкви отписано.

Щенок уже был у нее на руках и вылизывал старое, морщинистое лицо, не встречая ни малейшего противодействия.

У ног Пелагии раздался зычный лай, и на постель взгромоздился белыми лапами широкогрудый курносый кобель с обиженно наморщенным крутым лбом.

– Не ревнуй, Закидайка, – сказала ему больная. – Это же твой сынок, кровиночка твоя. Ну, дай и тебя приласкаю.

Она потрепала Закусаева родителя по широкому загривку, стала чесать ему за ухом.

Пелагия тем временем искоса разглядывала прочих, кто находился в спальне.

Молодой человек и девица, вероятно, были внуком и внучкой генеральши. Он – Петр Георгиевич, она – Наина Георгиевна, оба Телиановы, по отцу. Им, надо полагать, и главная выгода от завещания.

Пелагия попыталась представить, как этот ясноглазый, переминающийся с ноги на ногу брюнет подсыпает бедным псам яд. Не получилось. Про девушку, писаную красавицу – высокую, горделивую, с капризно приспущенными уголками рта – плохого думать тоже не хотелось.

Был еще и мужчина в пиджаке и русской рубашке, с простым и приятным лицом, которому удивительно не шли пенсне и короткая русая бородка. Кто таков – непонятно.

– Преосвященный прислал вам письмо, – сказала Пелагия, протягивая Татищевой послание.

– Что ж ты молчишь? Дай.

Марья Афанасьевна пригляделась к монашке получше. Видно, отметила и очки, и манеру держаться – поправилась:

– Дайте, матушка, прочту. А вы все ужинать ступайте. Нечего тут заботу изображать. Матушка тоже кушать пожалуйста. Таня, ты ей комнату отведи – ту,

угловую, в которой давеча Спасенный этот ночевал. И очень складно выйдет. Он Спасенный, а она спасенная, потому что Христова невеста. Если Владимир Львович приедет, как грозился, Спасенного этого во флигель отселить. Ну его, противный.

* * *

Обустривая гостью в светлой, опрятной комнатке первого этажа, выходявшей окном в сад, словоохотливая Таня рассказывала про то, кто такой Спасенный, что останавливался здесь прежде. Пелагия про Спасенного знала (да и как ей было про него не знать, если на архиерейском подворье в последние недели только и разговоров было, что о синодальном инспекторе и его присных), но слушала внимательно. Правда, Таня почти сразу перешла на бубенцовского черкеса – какой он страшный, а все ж таки тоже человек, и ему ласкового слова хочется.

– Как я вечером во дворе с ним повстречалась – задрожала. А он посмотрел на меня своими черными глазами и вдруг как обхватит вот тут. Я аж обмерла вся, а он... – рассказывала Таня полупшепотом, недовзбив подушку, да вдруг спохватилась. – Ой, матушка, что это я! Вам про такое слушать нельзя, вы инокиня.

Пелагия улыбнулась милой девушке. Умылась с дороги, потерла мокрой щеткой рясу, чтоб отчистить дорожную пыль. Немножко постояла у окна, глядя в сад. Был он чудо как хорош, хоть и запущен. А может, оттого и хорош, что запущен?

Вдруг где-то близко слышались голоса. Сначала мужской, приглушенный и прерывающийся от сильного чувства:

– Клянусь, я сделаю это! После этого тебе все равно жить здесь станет невозможно! Я заставлю тебя уехать!

Совсем немного любовных речей довелось слышать сестре Пелагии в своей жизни, однако все же достаточно, чтобы сразу определить – это был голос человека безумно влюбленного.

– Если и уеду, то не с вами, – донесся девичий голос еще ближе, чем первый. – И посмотрим еще, уеду ли.

Бедняжка, подумала Пелагия про мужчину, она тебя не любит.

Стало любопытно. Тихонько толкнув створку окна, она осторожно высунулась.

Комната была самая крайняя, справа от окна уже находился угол дома. Девушка стояла как раз на ребре, видная со спины и то лишь до половины. По розовому платью Пелагия сразу поняла, что это Наина Георгиевна. Жалко только, мужчину из-за угла было не видно.

В этот миг донесся звон колокола – звали к ужину.

* * *

Стол был накрыт на просторной веранде, обращенной балюстрадой и лестницей в сад, за деревьями которого угадывался простор Реки, проносившей свои воды мимо высокого дроздовского берега.

Пелагия увидела немало новых лиц и не сразу разобралась, кто есть кто, но трапеза и последовавшее за ней чаепитие длились долго, так что понемногу всё прояснилось.

Помимо уже известных монахине брата с сестрой, фотохудожника Аркадия Сергеевича Поджио и соседа-помещика Кирилла Нифонтовича Краснова, за столом сидели давешний мужчина в русской рубашке (тот самый, с некрасивой, но располагающей внешностью), еще один бородач с мужицким лицом, но в твидовом костюме, и пожухлая особа женского пола в нелепой шляпке с украшением в виде райских яблочек.

Некрасивый оказался здешним управляющим Степаном Трофимовичем Ширяевым. Бородач в твиде – Донатом Абрамовичем Сытниковым, известным богачом из исконных заволжских староверов, не так давно купившим неподалеку дачу. Про пожухлую особу, напротив, выяснилось, что она не то что не заволжская, но даже вовсе не русская, и зовут ее мисс Ригли. Какова ее роль в Дроздовке, понять было трудно, но, вероятнее всего, мисс Ригли

принадлежала к распространенному сословию француженок, англичанок и немок, которые вырастили своих русских подопечных, выучили их, чему умели, да так и прижились под хозяйским кровом, потому что без них жизнь семьи представить стало уже невозможно.

В начале ужина сестру Пелагию ожидало неприятное потрясение.

К трапезе вышла Марья Афанасьевна, ведя на поводке Закидая с Закусаем и опираясь на Танино плечо. Видно, от архиереева письма генеральше полегчало, хоть настроение ее отнюдь не улучшилось. Преосвященный всегда говорил, что иного больного нужно не лекарствами пичкать, а хорошенько разозлить. Надо думать, именно эту методу в данном случае он и применил.

Отца с сыном отвели в сторонку, где первого уже ждала миска с мозговыми костями, а второго – с гусиной печенкой. Раздался хруст, чавканье, и два зада, большой и маленький, ритмично закачали белыми обрубками хвостов.

– Что это у вас, мисс Ригли, за оранжерея на шляпе? – спросила Татищева, оглядывая стол и явно высматривая, к чему бы придраться. – Хороша инженеру выискалась. Хотя теперь что же, она у нас богатая наследница. Пора о женихах подумать.

Пелагия наострила уши и с большим, чем прежде, вниманием рассмотрела англичанку. Отметила живость мимики, тонкость губ, лукавые морщины вокруг глаз.

Мисс Ригли от внезапного нападения ничуть не оробела и безо всякого раболепства парировала выпад, почти не обнаруживая акцента:

– О женихах думать никогда не поздно. Даже и в вашем, Марья Афанасьевна, возрасте. Вы столько целуетесь с вашим Закидаем, что давно пора бы узаконить ваши отношения. А то какой пример Наиночке.

По смешку, прокатившемуся среди ужинающих, Пелагия поняла, что хозяйка грозна больше с виду и тиранство ее носит скорее номинальный характер.

Получив отпор от англичанки, генеральша навела свой гневный взор на монахиню.

– Хорош у нас владыка, а у меня племянничек. Хоть сдохни тут, ему лишь шутки. Что глазами хлопаешь, матушка? – Серdito обратилась она к Пелагии, и снова на «ты». – Познакомьтесь, господа. Перед вами новоявленный Видок в рясе. Она-то меня и спасет, она-то злоумышленника на чистую воду и выведет. Вот уж спасибо, удружил племянник Мишенька. Послушайте-ка, что он тут пишет.

Марья Афанасьевна достала злополучное письмо, нацепила очки и прочла вслух:

– «...А чтобы вы, тетенька, окончательно успокоились, посылаю к вам свою доверенную помощницу сестру Пелагию. Она – особа острого разума и быстро разберется, кому помешали ваши драгоценные псы. Если кто из ваших ближних и вправду желает вам зла, во что верить не хотелось бы, то Пелагия выявит и разоблачит пакостника».

За столом стало тихо, а какое при этом у кого было выражение лица, Пелагия не видела, ибо сидела ни жива ни мертва, покраснев и уткнувшись носом в тарелку с наливовым суфле.

В смущении она пребывала еще очень долго, стараясь обращать на себя как можно меньше внимания. Впрочем, никто с ней разговора и не заводил. Единственным ее наперсником при этом то ли намеренном, то ли случайно сложившемся остракизме был нахальный Закидай, пролезший под столом и высунувший из-под скатерти сморщенную морду прямо Пелагии на колени. Свою миску с мозговыми костями Закидай уже опустошил и теперь безошибочно определил, кто из сидящих за столом наиболее податлив к вымогательству.

Старший в роду белых русских бульдогов немигающе смотрел на инокиню, чуть наклонив на сторону круглую башку и наморщив сократовский лоб. Хоть Пелагия была голодна, но есть под этим проникающим в душу взглядом ей показалось совестно. Она тихонько взяла с вилки кусочек суфле, опустила руку под скатерть. Пальцы обдало жарким дыханием, щекотнуло шершавым языком, и рыба исчезла.

Разговор за столом между тем складывался интересный, о таланте и гении.

– Про меня все смолоду говорили: «талант, талант», – иронически щурясь, рассказывал Поджио. – Пока глуп был, очень этим гордился, а как в ум вошел, призадумался: только талант? Почему Рафаэль гений, а я всего лишь талант? В чем между ним и мною разница? В Италию ездил, на Рафаэлевую мадонну смотрел – явный гений. А погляжу на свои полотна – вроде всё, как нужно. И оригинально, и тонко, потоньше, чем у Рафаэля, много потоньше. И сразу видно, что талантливо, уж прошу извинить за нескромность, а не ге-ний, – разделяя слоги, произнес он и сделал звук губами, словно из пустышки воздух выпускал. – Оттого и бросил живопись, что талант у меня был, а гения не было. Фотографические картины теперь делаю, и, говорят, хорошие. Талантливые. Но это ничего, ведь гениев в фотографическом искусстве пока нету, и Рафаэль свет не застит. – Аркадий Сергеевич невесело рассмеялся. – А вот у Степы, когда вместе в Академии учились, пожалуй что и гений обещался. Зря бросил писать, Степан. Я видел, как ты давеча акварельку набросал. Техника, конечно, запущена, но смело, смело. Такие штуковины теперь в парижских салонах за большие деньги идут, а ты еще двадцать лет назад угадал. Скажи, вот ты после стольких лет снова за кисть взялся – душа не запела?

Степан Трофимович Ширяев ответил угрюмо и неохотно, глядя в скатерть:

– Запела, не запела. Какая разница. А акварельку я так, от безделья намалевал. Косить уже откосили, жать еще рано. Передышка... Что прошлое вспоминать. Как сложилось, так и ладно. Талант, гений, не один ли черт. Надо делать дело, к которому приставлен. И чем прилежней, тем лучше.

Пелагии показалось, что Ширяев за что-то сердится на Поджио, да и тот, кажется, был несколько обескуражен отповедью. Желая перевести беседу в шутовское русло, он обернулся к монахине и с преувеличенной почтительностью спросил:

– А что по поводу гения и таланта полагает святая церковь?

Тема разговора инокине была интересна, да и собеседники нравились, поэтому она не стала уходить от ответа:

– Про позицию церкви вам лучше спросить кого-нибудь из иерархов, а по моему скромному разумению весь смысл земной жизни состоит в том, чтобы гений в себе открыть.

– В этом смысл? – удивился Аркадий Сергеевич. – А не в Боге? Ну и сестрица.

– Я думаю, что в каждом человеке гений спрятан, маленькая такая дырочка, через которую Бога видно, – стала объяснять Пелагия. – Только редко кому удастся в себе это отверстие сыскать. Тычутся все, как слепые котята, да все мимо. Если же свершится такое чудо, то человек сразу понимает – вот оно, ради чего он в мир пришел, и живет он дальше спокойно и уверенно, ни на кого не оглядываясь. Вот это и есть гений. А таланты много чаще попадают. Это те, кто окошка того волшебного не нашел, но близок к нему и отсветом чудесного сияния питается.

Для вящей убедительности она взмахнула рукой, указывая на небо, да так неудачно, что зацепила широким рукавом чашку и залила Кириллу Нифонтовичу всю брючину.

Он, бедный, аж на одной ножке заскакал – так горячо было. Скачет, охает и приговаривает:

А коварная девица,

Шемаханская черница,

Говорит тому царю:

«Я живьем тебя сварю».

Пелагии со стыда в пору под землю провалиться – чуть не расплакалась. И про талант не вышло договорить, очень уж все смеялись.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

серый кардинал (фр.).

2

укол в фехтовании (фр.).

3

государственный переворот (фр.).

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/boris-akunin/pelagiya-i-belyy-buldog-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)